

**СЕРГЕЙ  
АЛЕКСЕЕВ**

ИЗГОЙ  
ВЕЛИКИЙ

Сергей Алексеев

**Изгой Великий**

«Алексеев Сергей»

2012

## **Алексеев С. Т.**

Изгой Великий / С. Т. Алексеев — «Алексеев Сергей», 2012

Новый роман Сергея Алексеева погрузит читателя во времена Александра Македонского, когда мир был разделён на цивилизацию и варварство, просвещённость и дикость. Но что является настоящей культурой – изящные искусства и философия или исконные знания, обычаи и традиции?.. И почему дерзкая попытка великого полководца, затеявшего поход на Восток, соединить два мира, чтобы победить варварство Персии, Великой Скуфи, Индии и утвердить не только свою власть в мире, но и просвещённость Эллады, закончилась его возвращением в бочке с мёдом, который использовали тогда для бальзамирования? Почему его учитель, великий философ Аристотель, вынудил своего ученика сжечь священный список Авесты, захваченный в Персеполе – сакральной столице Персии, и обрёл на огонь также индийские Веды и прочие древние знания? И в чьих руках завоеватель мира и освобождавший духовное пространство человечества для утверждения своей философии мыслитель были лишь игрушками?.. Великий мастер интриги и слова откроет в романе многие сакральные тайны.

© Алексеев С. Т., 2012

© Алексеев Сергей, 2012

# Содержание

1. Прибылой волк	5
2. Бич Божий	19
3. Эпирская жена Миртала	34
4. Путь к Богам	49
Конец ознакомительного фрагмента.	50

# Сергей Алексеев

## Изгой Великий

### 1. Прибылой волк

Попав на остров, он, невольник, наконец-то испытал все радости жизни и благоденствовал на острове целых два года. Вдоволь было всего – времени, изысканной пищи, ласковых наложниц и, главное – превосходного папируса, чернил и дерзких мыслей. Раб, он мнил себя господином, и казалось, это состояние продлится бесконечно, хотя блаженство вызывало в нём тревожное ощущение хрупкости мира.

Все эти благодатные дни покоя даже море не волновалось, тихо плескаясь в бухте в пору осенних бурь, словно младенец в ванне. По велению Ариса на острове не позволялось громко кричать, бить в барабаны и отбивать часы полудня и отхода ко сну.

Так продолжалось, пока однажды к острову не причалил чужой корабль, на парусах коего красовался неведомый знак – двоянный чёрный крест. Полагая, что это пожаловал господин либо его посланник, подневольный философ явился на пирс, но с горделивой триеры сошёл человек уважаемого возраста и весьма властного вида, обряженный в судейскую мантию. Двое слуг вынесли и установили на причале деревянное кресло, напоминающее трон с высокой спинкой, двое других принесли пирамидальный деревянный ларец на ножках, украшенный теми же чёрными знаками и увенчанный золотым шаром. Философ, как полагается, преклонил одно колено и потупил взгляд. Незнакомец в мантии мог быть кем угодно – доверенным лицом господина, вновь назначенным сатрапом острова или вовсе новым господином, однако он назвался всего лишь именем Таисий Килиос, никак не обозначив своего статуса и положения.

И что более всего заставило встрепенуться – обратился к рабу по настоящему имени!

– Встань, Аристотель Стагирит! – велел он и сам сел в кресло.

Звучание собственного имени напоминало манящую песнь морской сирены. Философ встал, но не избавился от чувства напряженного ожидания, и настораживало его не само появление этого человека, а ларец, несомый слугами, вернее венчающий его золотой шар, означающий высшую власть коллегии эфоров.

Гость откинул крышку пирамиды и извлёк оттуда книгу:

– Посмотри и ответь: чьему перу принадлежит сочинение?

Философу хватило одного взгляда, чтобы узнать свой труд о путешествии в Великую Скуфь, созданный более года назад и присвоенный господином. Правда, это была уже копия, переписанная явно рукой доксографа, на дешёвом жёстком пергаменте и, судя по засаленности титула, изведавшая множество чтецов.

– Здесь стоит имя Лукреций Ирий, – осторожно проговорил невольник. – У меня нет оснований предавать авторство сомнениям...

Человек в судейской мантии невозмутимо извлёк из ларца ещё одну рукопись, также изрядно изветшавшую:

– А кто сотворил сей труд?

Руки у Ариса дрогнули: перед ним оказался список его собственного трактата о нашествии варваров, их нравах и гибели библиотеки Ольбии. Того самого трактата, который сделал его известным, но на титуле также стояло имя жаждущего славы олигарха!

Ожидая ответа, гость взирал на раба с непроницаемым лицом сфинкса, и угадать, что хочет, было невозможно. И тут философ схватил себя за руку, как вора, забравшегося в свой карман: даже непродолжительная жизнь в неволе незаметно насытила его трепещущим стра-

хом, отчего и виделась ему хрупкость мира. Он вспомнил учителя Биона и, вскинув голову, открыто воззрился в лицо эфора.

– Авторство этих сочинений принадлежит мне, – гордо произнёс Арис, при этом испытывая студёное дыхание опасности. – Но кто ты, незнакомец, чтобы спрашивать об этом?

Синяя судейская мантия, этот шар на ларце, знаки в виде сдвоенного креста и зрящего глаза вдруг соединились в единую логическую цепь и могли означать, что перед ним представитель некоего верховного карающего суда эфоры или герусии. В тот же миг вспомнилась судьба оригинала первого трактата, публично преданного огню, и леденящая рука предчувствия легла на пересохшее горло.

– Таисий Килиос, – просто назвалась гость.

– Мне твоё имя незнакомо... – начал было говорить невольник и смолк, ибо взор судьи более напоминал щелчок бича.

– Почему же на титулах стоит другое имя? – бесстрастно спросил он. – Ты умышленно скрыл авторство?

Философ выдохнул знобящий сердце холод и кратко рассказал о своём тщеславном господине, купившем его на берегах Персии, об условиях жизни на острове и нынешнем положении раба. Он выслушал это так, словно уже знал всё, что приключилось с Арисом.

– И ты утверждаешь, что Лукреций Ирий присвоил твои сочинения? – уточнил он.

– Он сделал это по договору со мной, – честно признался философ.

Таисий Килиос продолжал испытывать его, ничем не выдавая своих чувств и намерений.

– Готов ли ты вернуть своё имя на титулы?

– Готов.

– Это равнозначно смертному приговору.

Образ Биона на минуту возник перед взором, и в ушах прозвучало его повелительное слово:

– Зри!

– Если в Элладе не внимают словам философов, а казнят за свои труды, то исчезает смысл существования, – с достоинством произнёс Арис, ощущая прилив сил. – И наступает смерть всякой мысли.

Таисий Килиос вернул в ларец рукописи и откинулся на высокую спинку кресла, взирая на кипящую бликами воду бухты. Он что-то вспомнил, и лицо его слегка оживилось.

– Ты видел, как варвары вышли из моря?

– Да, эфор. И это было невероятное зрелище...

– И утверждаешь, они способны дышать в воде, как рыбы?

– Нет, надзиратель, сего я не утверждаю.

Тот надолго задумался, и теперь было понятно о чём – вспоминал трактат, принёсший Арису известность, и, вероятно, взвешивал степень его вины. Философ же продолжал стоять перед ним и был самому себе судья и самому себе выносил приговор, перебирая в памяти всё, к чему подтолкнул его любопытствующий и одновременно по-юношески мятежный, возмущённый дух несколько лет назад.

– Ты раскрыл в трактате тайну изготовления пергамента, – заключил эфор. – По законоуложению коллегии подлежишь смертной казни. И с мёртвого тебя снимут шкуру...

Его дважды пощадили варвары, ибо он узрел их слёзы, а потом проникся их мировоззрением; теперь же не приходилось ждать пощады, поскольку впервые он открыто смотрел опасности в глаза, воплощением коей сейчас был Таисий Килиос, и не видел никакого сочувствия, не обретал малейшей надежды на спасение. Поэтому Арис попытался вызвать милость словом.

– Но я не был членом коллегии ремесленников, – напомнил он. – Не давал никаких клятв, не присягал. И не могу быть осуждённым по их внутреннему законоуложению...

– Я уполномочен решать, можешь или нет! – оборвал его эфор. – Ты стал таковым, когда молодой мастер посвятил тебя в тайны ремесла. Именно это считается актом посвящения и вхождения в коллегию. Не ты ли написал об этом в своём сочинении?

– Да, надзиратель, я написал...

– Готовься к смерти!

Душа протестовала, однако разум в тот час не смог отыскать доводов, дабы защитить её, и потому он дерзко спросил то, что было на устах:

– Кто ты, чтобы судить и предавать меня казни? С каких пор эфоры стали выносить смертные вердикты философам?

– Я – эфор, надзирающий за тайнами всех полисов Эллады, – с холодным достоинством вымолвил он. – В том числе за тайнами коллегий. И уполномочен решать твою судьбу.

– Если ты изучил трактат, – Арис собрался с духом, – тебе ясно, я не выдавал тайну изготовления, ибо она известна всем, кто когда-либо использовал пергамент для письма. Кожи сначала вымачивают в растворе извести, потом мездрят, глядят пемзой и втирают мел...

– Тайна заключалась в том, какую кожу используют для выделки! – прервал Таисий Килиос. – И не нашествие варваров, а твой трактат стал вреден для коллегии пергаментщиков. И ладно бы, коль ущерб потерпело только ремесло. Ты опозорил Элладу перед всей Серединой Земли, унизил эллинов, уподобив их варварам. Ты привил омерзение к пергаментным рукописям философских трудов и трактатов по естествознанию. Ты дал право римлянам осуждать ценности эллинского мира. И достоин смерти.

Сказано было так, что сомнений не оставалось: этот судья приведёт приговор в исполнение и не спросит о последнем желании.

И тут Арис вспомнил о незаконченном сочинении и попросил хладнокровно:

– Дозволь мне, надзиратель, завершить труд. Потребуется ещё месяц или чуть поболее...

Таисий Килиос взглянул с неким пренебрежением: должно быть, уже видел его обезглавленным и со снятой кожей.

– Ты неумный, Аристотель, – пробурчал он. – Я вынес тебе вердикт...

– Отложи казнь, эфор.

– Неужто тебя прельщает слава после жизни? Что ты хочешь сказать потомкам? Вновь возмутить их разум подобными творениями? – Он глянул на ларец. – Возвысить дикарей унижением страдающей от них Эллады?

– Потомкам поведаю, что зрел при жизни. А им уже судить, прав был или виноват...

– Хочешь суда времени? – скучающе произнёс эфор. – Добро... Пойди с моей стражей и принеси свой труд. А там уж я решу, завершать его или предать огню.

– Оба принести или только незавершённый? – спросил Арис, чувствуя, как ледяная рука смерти чуть освободила горло.

– У тебя их два?

– Да, надзиратель. Одно сочинение под именем своего господина я закончил. Другое же творил втайне от него...

– Принеси оба!

Стражники Таисия Килиоса встали по бокам и повели его на виллу, где трудился философ. И эти короткие минуты жизни, покуда он ходил за сочинениями, показались прекрасными, ибо он вновь ощутил все радости бытия. Он наполнялся торжеством, что светит солнце, ветер ласкает кожу под тонким хитоном, ещё живую, чувствительную, приросшую к его плоти, и море плещется, балуя слух; узрел и ощутил всё то, что стало уже привычным. Успел вспомнить Гергилию, утешиться надеждой, что она всё-таки родила сына, дала имя Никомах, как обещала, и даже на короткий миг восторжествовал, что умрёт и оставит на земле своё семя – наследника. И сожалел, что не сможет по достижении отроческих лет взять его в ученики.

Эфор же через слуг принял папирусы и стал читать тут же, на пристани, веля отвести Ариса в сторону и держать под охраной стражников. Философ лёг на песок и не коротал время, а наслаждался им, вспоминая, как очутился на этом берегу, где предстоит закончить путь.

В сторевшем и разграбленном македонцами Стагире он щедро одарил свою возлюбленную Гергилию, и у философа опять не оказалось ни единого обола в кармане. Потому он, не раздумывая, нанялся на торговую галеру судоводителем, обязанностью которого было в ночные часы вести судно по звёздам. Арис давно уже привык расплачиваться за путешествия своим трудом и не брезговал никакой работой. Скоро и выгодно распродав ходкий товар, купец спешил убраться из тревожной Халкиды, поэтому намеревался идти днём и ночью, опасаясь грабителей и не приставая к берегам. Судно благополучно обогнуло мыс со святилищем на острове Скирос, и до Афин оставалось менее половины пути, когда внезапно изменился ветер и сильный борей поднял бурю: боги мстили тому, кто, отдавая хлеб страждущим, брал серебро.

Все попытки войти в гавань или хотя бы приблизиться к спасительным отмелям закончились потерей вёсел, без коих кормило сделалось бесполезным, а парус и вовсе угрожал гибелью, ибо галеру и так уносило ветром в открытое море. Из низкого, чёрного неба бесконечно сыпались копы молний, щелястая старая палуба не выдерживала натиска стихии, ливень и волны наполняли галеру водой, словно щедрый виночерпий чашу, и гребцы не поспевали от неё избавляться. Неуправляемую галеру со срубленной мачтой то вздымало к тучам и молниям, то бросало в пропасти, люди взывали к богам, ибо никто более не мог спасти, а философ, взирая на волны, оставался спокойным и почти счастливым. Даже когда ударом воды с него сорвало остатки одежды, внезапно пришла мысль о волнообразности мира и всего сущего в нём. Вцепившись в обрубок мачты, Арис лежал на палубе и мысленно носился по волнам собственной жизни: испытав чувственное падение в Ольбии, он возвысился, прикоснувшись к тайнам жизни варваров. Но вновь брошенный в бездну горящего родного Стагира, он вознёсся до небес, испытал блаженство любви на ночном морском берегу и обрета надежды; теперь же опять валился вниз вместе с галерой, но уже знал и чувствовал: непременно будет взлёт!

Ещё неделю после бури неуправляемое судно несло по воле стихии. Изнемогавшие от жажды, люди пили морскую воду, от голода ели гнилое зерно, добывая его из щелей в трюмах, жирных корабельных крыс и испытывали презрение к драгоценному серебру, которого было вдосталь. Ещё недавно чудотворно спасавшее погорельцев Стагира, здесь оно никого спасти не могло. То есть даже такая категория, как деньги, воплощённые в металле, подчинялась закону волны и подвергалась колебательным движениям. Избавление от неминуемой гибели могли принести боги и люди, вдруг явившись среди бескрайних вод, и они явились в виде морских разбойников.

На сей раз философу не удалось избежать рабства, поскольку всех гребцов вместе с владельцем корабля и его подручными пленили и переправили на невольничий рынок Персии. Вольный гражданин и богатый купец, ещё недавно помыкавший рабами, сам стал невольником – и тут не обходилось без закона волнообразности мира! Но это было спасение, ибо и в рабстве всё равно была жизнь!

Уже в который раз его выручило наставление Биона, когда связанных одной бечевой пленников выставили на торжище. Не в пример остальным невольникам Арис отринул все мучительные чувства и стал смотреть в лица купцов пристально и открыто, как если бы взирал на своих учителей. За время новых странствий у него опять отросла борода, обветрилось лицо, да и из одежды была лишь одна набедренная повязка, так что, прирождённый вольный и благородный эллин, он более напоминал варвара из диких лесов Рапейских гор, однако взирающего без ненависти и злобы.

Это и привлекло внимание одного из покупателей, по виду и одежам жителя Рима, невесть как оказавшегося на персидских берегах: тогда философ ещё не знал, что на Капейском мысе давно уже не торгуют рабами, ибо после нашествия варваров ни один стратег понтийских

полисов не отваживался ходить за добычей ни встречь солнцу, ни тем паче в полунощную сторону. И теперь рабы в Элладу поступали в основном из Персии и с берегов Красного моря. Оказалось, сей римлянин сговаривал и тайно вывозил в Персию молодых греков-гоплитов на службу Дарию, за что персы позволяли ему за малую плату подбирать на невольничьих рынках сильных и здоровых мужчин для труда в мраморных каменоломнях. Дармовых рабов он вовсе не ценил, невольники выдерживали года три, и непригодных для работы, больных, но ещё живых попросту приваливали глыбами или засыпали щебнем.

Римлянин спросил его о возрасте и вдруг, услышав речь невольника, встrepенулcя, ибо признал в нём эллина. Когда же раб назвал себя, вначале не поверил, что перед ним тот самый философ, сочинитель известного ему запретного трактата о нашествии варваров, но Арис, доныне помнящий наизусть своё творение, в одну минуту доказал авторство.

Так ему и стало известно о своей славе, что уже давно была суца в Середине Земли, и это обстоятельство заставило поверить в счастливую судьбу публично казнённого сочинения. Однако римлянин Лукреций, купивший его у персов, как раба, не пожелал расставаться с приобретением. И хотя обещал волю, подчеркивая тем самым благородные порывы, но замыслил извлечь пользу, поскольку купеческий нрав преобладал в его господине. У римлянина было всё – богатство, дворцы, корабли, наложницы и уважение в своей среде; не хватало лишь славы философа, причём, как было по нраву олигархам, философа мятежного, бросающего вызов всему мироустройству! И она, эта слава, прельщала его больше всего на свете, позволяя продлить земное существование после смерти и на долгие века приковать к своей персоне внимание многих поколений.

Ещё по пути на остров Лесбос, где у Лукреция Ирия было имение, он предложил Арису послужить в качестве наёмного учёного, то есть поселить в прекрасной вилле на одном из островов, ему принадлежащих, обеспечить всем необходимым, чтобы избавить от забот о земном существовании, и всецело предаться учёным трудам. Взамен же потребовал навсегда отказаться от своего имени, которого Арис и так был лишен, ибо пребывал на положении невольника. При этом господин не оставлял даже малейшего права на выбор: в противном случае никто бы и никогда не узнал, что один из рабов в каменоломнях, внешне напоминающий скуфского варвара, – философ и ученик самого Платона, вызвавший своим трактатом так много споров среди учёных мужей Эллады и тех римских граждан, которые вели торговлю на Пелопоннесе.

– Как тебя звали в ученические годы? – спросил он, изложив свой замысел.

– Учитель называл меня Арис, – признался невольник. – И так же называла меня возлюбленная юности Гергилия из Стагира.

– И я стану называть тебя Арис, – заявил господин. – Это звучит как имя бога войны Ареса! Пусть сие созвучие тебя утешит. Отныне ты должен забыть своё настоящее имя.

Он давно уже привык воспринимать мир по-варварски, в его стихии естества и согласился на это, но были и приятные мгновения, когда Лукреций Ирий относился к своему невольнику с пониманием и почтением. К примеру, вместо капейского пергамента, на коем философ раз и навсегда отрёкся писать сочинения и даже брать его в руки, этот римлянин раздобыл много египетского коричневого папируса, который персы запретили вывозить за пределы своей империи.

Философ в который уже раз вспомнил своего учителя и решил положиться на судьбу. И так он оказался на небольшом райском островке близ Лесбоса, где и в самом деле приступил к научным философским трудам, в первые месяцы жизни испытывая такое творческое вдохновение и блаженство, что временами забывалось рабское положение. Напротив, ему прислуживали прекрасные рабыни и наложницы, так пристрастно исполняющие любые его желания, что впору было возомнить себя господином, однако сделать этого не позволяла память о Бионе Понтийском, научившем его открыто взирать в лицо всякому явлению и извлекать

уроки. Сочинение, написанное после долгих странствий, к философии имело косвенное отношение и представляло собой скорее заметки и наблюдения странника, соприкоснувшегося с неведомым миром варваров. Он ещё не успел осмыслить, обобщить и облечь в научную форму то, что недавно увидел и услышал, поэтому не мудрствуя лукаво поведал о своём путешествии по Великой Скуфи и о том, что узнал от мудрецов тех земель и потом от самого их вешего старца.

Проникшиеся к ученому страннику простодушные и несколько хвастливые варвары, считающие себя мудрецами, рассказывали не только о бесчисленном разноплеменном народе и бесконечных землях, коими владели; ненароком, по несмысленности своей, они поведали тайну, которую всю жизнь пытался разгадать Бион и о которой Арис тогда даже не догадывался. Они открыли суть, истину, в чём состоит сила, незримая сплочённость и живучесть всего мира варваров, почему они неистребимы, неуправляемы, не терпят над собой никаких просвещённых законов благородных народов Середины Земли и находятся с ней в постоянном противостоянии.

А суть заключалась в том, что дикие и разнородные племена трёх сторон света, на первый взгляд, ничем не скреплённые между собой и часто воюющие друг с другом, имели некую глубинную внутреннюю связь, позволяющую им навечно сохранять варварские нравы, обычаи и устои. Каждая сторона их варварского света владела святыней в виде неких священных книг, также будто бы не зависимых друг от друга: на Востоке это была Авеста, в полунощи – Веста и в полуденной стороне – Веды. Однако все они, как и сами варварские народы, обладали неким таинственным триединством, о котором даже мудрецы имели знания смутные, либо грубовато и неумело хитрили, не желая до конца раскрываться перед иноземным философом. В то время никто из учёных мужей ни в прошлом, ни в настоящем даже не слышал о подобных святынях варваров и тем более никто не имел знаний об их миропредставлении, в основе которого лежало некое незыблемое и неведомое триединство всех вещей и явлений, внешне никак не связанных.

Можно было бы поспорить с мудрецами, отставивая своё, дуалистическое, представление о мире, принятое у благородных народов Середины Земли, однако Арис посчитал недостойным дискутировать с людьми малопосвящёнными, да и цель странствий имел совсем иную. Объявленный чудскими сколотами чумным, он несколько месяцев прожил в чуме вдали от людей, однако же так или иначе выведывал у них некие знания о мироустройстве жизни варваров: отроки, кормившие его хлебом, ненароком выдавали иные тайны. Однако от умственной лености они никогда не вникали в суть философских законов своих народов, ибо считали: не их это занятие познавать природу вещей. И лишь вещей старец чуть приоткрыл смысл священности своих святынь и первопричину, отчего образуется это их триединство. По крайней мере, объяснил, как полунощные варвары добывают Время, считая его наивысшим благом.

Точно так же добывали Время на Востоке и в полуденной стороне, за рекой Инд.

И сейчас, взлетая с волны на волну в бушующем море, как и в решающий миг, стоя в обсерватории на седьмом ярусе научной башни в Ольбии и глядя на скорбящих и плачущих возле огня варваров, взор и разум Ариса мгновенно уловили некую скрытую, странную и притягательную суть явления, смысл которого был ещё под непроглядным покровом. Однако чутьём он уже выхватил манящее направление, где следовало искать истину. И так же, как перед лицом смертельной угрозы, было непомерно обидно умереть, так и не раскрыв тайны! Философ думал об этом, когда буря рвала снасти и ломала гребни; он до слёз жалел, что не успеет познать неведомое, когда морские разбойники напали на беспомощный корабль и лишь за один открытый, дерзкий взгляд его чуть не бросили в пучину с камнем на шее; и как он скорбел и плакал, когда забитого в колодки, под нестерпимым, обжигающим солнцем вели через пески на невольничий рынок.

И рядом не было учителя – врага, у коего можно было бы в последний миг спросить ответ...

В райском уединении его тоже не было, и потому Арис выкладывал эти наблюдения, чувства и мысли, ещё со школярских времён зная, что, изложенные письменно, они приобретут плоть научной формы и тем самым подвигнут его к разгадке пока что неразрешимых задач. Так и случилось: доверенные папирусу размышления однажды натолкнули его на мысль, что объединяющая суть варварских святынь заключена в знаниях, каким образом следует добывать Время! В них явно было сокрыто руководство, что предпринять и как действовать, если отпущенный их богами календарь, или Чу (так варвары называли время), безвозвратно утёк. Вероятно, доступны эти знания лишь особо посвящённым жрецам, поскольку даже цари варваров не вникали в сакральные тайны обрядов. Зато их мудрецы, называющие себя вещими, независимо, в какой бы части света они ни обитали, были озабочены единой страстью – получить новый календарь, новый срок Чу для существования своих земель и народов. Их огненные действия непонятны и дики: когда сжигают жилища, радуются, поют и танцуют при этом, их невероятно упорный труд по возведению новых, точно таких же городов кажется бессмысленным, безумным!

Если не знать, что они тем самым добывают Время! И заполняют им некие пустые сосуды и бассейны в своих городах, как это делают в засушливых странах во время редких дождей.

Учитель зрелости Бион был близок к разгадке этой тайны. Он всю жизнь подбирался к ней, как охотник к дикой птице, и даже ротонду башни выстроил по образу и подобию города варваров, пытаясь проникнуть в таинство их мировосприятия, понять природу их неистребимой живучести.

В Середине Земли люди взывали к богам, чтобы получить благоволение и добыть хлеб насущный. К примеру, они трудились в поте лица, дабы вырастить виноградную лозу, масличное дерево, ломали твёрдый камень для строительства прекрасного дворца или копали глубокие норы, извлекая серебро и золото, пускались в опасные путешествия, чтобы продать товар подороже и тем самым приобрести блага земной жизни. А варвары, ведя жизнь скудную, ничем подобным не отягощены, но зато одержимы, когда строят свои, казалось бы, лишённые всякой логики города! Когда возводят высоченные неприступные стены, зная наперёд, что никто на них нападать не будет. И живут замкнутые кольцами этих стен, дабы через полвека своими руками сжечь опустевшие сосуды вместе с теремами, литейными печами, скарбом и затем построить новые!

Все эти мысли о варварском мироустройстве Арис оставил в голове, а изложил лишь некие основы жизни диких, неведомых племён и народов, неизвестных даже Геродоту. Он относился к своему труду, как корабельщик, ещё только закладывающий на верфи корабль, однако его нынешний господин Лукреций Ирий, внезапно явившись на остров, прочёл сочинение и настолько был восхищён, что и слышать не захотел никаких доводов своего невольника. Олигарху, далёкому от истинной философской науки, всякое описанное и неведомое прежде явление казалось гениальным творением, ибо позволяло найти пути в далёкие земли и организовать там выгодную торговлю. Поэтому он распорядился немедленно сшить листы в книгу, поставил на ней своё имя и в тот час отбыл в Рим.

Недолго посожалев, Арис вдохновился на новый труд, так как его переполняли мысли, а в распоряжении были щедрые запасы чистого папируса и чернил. Приученный думать на ходу, он прогуливался по острову, совершая своеобразное кругосветное путешествие, сочинял в уме, укладывая мысли в научное ложе, после чего садился за стол и излагал их на папирусе. На сей раз он задумал обхитрить господина и творил сразу два сочинения: одно под его именем, а другое, содержимое втайне даже от прислуги, – под своим. Это было дерзостью и влекло за собой опасность быть уличённым в нарушении договора, но одновременно наполняло сердце

философа по-отрочески безудержной радостью творения, ибо он вновь открыто взирал в лицо великого своего учителя – врага – и мысленно побеждал его.

Так миновал год этого двойственного существования, и трактат для господина был завершён, однако тот более не появлялся и не слал своих людей. Арис сему обстоятельству радовался и всецело занялся тайным трудом, порою ликуя от восхищения и радости. Он вздумал закончить его и, не проставляя своего имени на титуле, послать с рыбаками в Афины учителю своему, Платону. И послал бы, коль к пирсу острова не причалил корабль со сдвоенным крестом на парусе – тайным знаком коллегии эфоров...

Он просидел у моря под знойным, палящим солнцем до самого вечера, пересыпая память из руки в руку, как горсть раскалённого песка, и издалека взирая, как близорукий Таисий Килиос, окружённый рабами с опахалами, читает его труды. И чем дольше он склонялся над не сшитыми ещё листами папируса, тем далее отступала смерть. Иные места в трудах эфор прочитывал дважды и затем, откинувшись на спинку кресла, подолгу о чём-то размышлял, и появлялась призрачная вера о пощаде, хотя бы на срок, позволяющий закончить труд. Когда же стемнело, надзиратель приказал установить возле кресла три светоча и продолжал читать уже при неверном, колышущемся свете! И тем самым добавлял уверенности, что жизнь продлится даже более срока, нужного для завершения сочинения! Он должен был, обязан был споткнуться на том, что рукопись обрывается на полуслове, и, уже захваченный, завлечённый историей о варварских святынях, потребовать продолжения!

А его, это продолжение, можно писать бесконечно, пересыпая мысли из кулака на ладонь и потом обратно...

Уже дважды он был приговорён и избегал смерти. Этот вердикт был третьим и последним, если исходить из варварского представления о триединстве мира.

И если это случится, то можно обрести вечность...

Песок под Арисом медленно остыл, затем стал холоден, студил до озноба. Лишь с восходом солнца, когда он начал теплеть и светочи потушили, эфор оторвался от рукописей и подзвал приговорённого. От первых слов Таисия Килиоса стало понятно, что философ напрасно обольщался, ибо не представлял, испытывая жажду жизни, что этот надзиратель за сохранением тайн Эллады сыщет в трудах мотивы, усугубляющие его вину.

– Считаю оба труда завершёнными, – заключил он, словно меч воздел над согнутой шеей.

Арис ощутил, как всё его существо собралось в горячий ком и сжалось в солнечном сплетении, словно он вновь наблюдал, как неумолимые варвары свергают учеников философской школы с седьмого яруса башни.

– Ты знаешь, Эллада стоит на пороге своей гибели, – заключил Таисий Килиос. – Все мои устремления вразумить её посредством варварской Македонии и её царя Филиппа успехом не увенчались... Никогда ещё греки не знали подобного унижения и обиды! Даже от персов!

– Это мне известно, и я, страдая и печалюсь о том, писал свои сочинения...

Эфор потряс рукописью и презрительно швырнул её на песок.

– Ты пытался поведать потомкам о святынях варварского мира, – продолжил он после паузы. – Вселить в них ещё большую гордыню и навсегда развести благородные народы с иными странами света. Посеять вечное противоборство, бросить семена бесконечных войн, ужасающих набегов и гибели просвещённой Середины Земли. Безусловно, ты достоин смерти, впрочем, как и труды твои. Не могу дать тебе и минуты, чтобы завершить сочинения.

– Я не хотел этого, надзиратель, – обречённо произнес философ. – Напротив, мыслил примирить стороны света...

– Каким же образом?

– Отыскать святыни варваров, изучить их, с помощью аналитики сопоставить мировоззрения ума просвещённого и варварского. И сблизить их, если окажется между ними пропасть. Или хотя бы выстроить мост...

Таисий Килиос надменно усмехнулся:

– Ты рассуждаешь, как понтифик!

– Я вижу в этом смысл философии, – гордо ответил Арис. – Выстраивать мосты, примирять непримиримое.

Надзиратель был непреклонен:

– Странствуя между дикими народами, ты стал таким же простодушным, как они... Учитель твой Платон одобрил бы твои устремления?

– Нет, – признался невольник. – И я бы не хотел походить в трудах на своего учителя.

– Ты ещё очень молод и мыслишь, как юноша, пытаясь бросить вызов. Мне жаль тебя...

Столько потрачено сил, времени. И всё напрасно...

– Неужели, надзиратель, ты не нашёл ничего нового и полезного в моих трудах?

– Ничего...

– Как же варварские святыни?.. О них не знает никто из ныне живущих философов!

Впрочем, из ветхих тоже. Есть только слухи...

– Философы не знают, верно... И не должны узнать. Это я тебе говорю, эфор, надзирающий за тайнами Эллады.

– Но знаешь ли ты? Изведал ли ты суть варварских святынь?

Таисий Килиос застыл, взирая на восход, и багровый свет обратил его в изваяние.

– Иначе бы коллегия не уполномочила меня надзирать за тайнами...

– Ты прикасался к священным книгам варваров?!

– Я погубил зрение, сидя при жировом светильнике в мрачной пещере. Поэтому плохо вижу даже встающее солнце...

Аристотель вдруг испытал страх, глядя на бронзового эфора. Но он, этот страх, перевоплотился в некое уважение.

– Готов поклонить колено, надзиратель, – проронил он. – Я лишь мечтал об этом...

Таисий Килиос, ко всему прочему, был ещё скромнее и пристрастен к поиску истины.

– К сожалению, не удалось позреть на первозданные святыни. Мне в руки попадали только списки со священных книг, исполненные доксографами, по памяти тех, кто к ним когда-либо прикасался. Ты, философ, понимаешь, это не одно и то же... Как бы я хотел взглянуть на истинные святыни варваров! Написанные золотыми чернилами!

Сказав это, он вновь вселил надежду на спасение.

– Я уже был близко к цели, – сдержанно проговорил Арис. – До хранилищ Весты оставалось всего тысяча стадий. Или даже меньше... Но я их не прошёл, ибо был объявлен чумным.

– И не прошёл бы, даже если бы не угодил в чум...

– Но отчего?

– Суть в варварских закланиях... Но тебе знать об этом не следует. И так сказал более, чем нужно. Вероятно, от доброго расположения духа, навеянного твоими сочинениями.

Он отвернулся от солнца, превратившись в серый бесстрастный мрамор. Должно быть, этот оборот был знаком, поскольку стражники, стоявшие в отдалении, неожиданно приступили к Арису и с ловкостью факиров набросили верёвки: одну – на сомкнутые руки, другую – на шею. После чего поставили на колени, и один, уперевшись ногой ему в спину, натянул петлю.

Надежды рухнули в тот час, и от разогретого песка дохнуло холодом. Философ старался держаться достойно и до боли прикусил язык, дабы не просить о пощаде. Ветер потянул с моря и встрепал листы папируса на песке, эфор придавил их ногой в пробковой сандалиии, как придавливают нечто омерзительное, к примеру змею или корабельную крысу.

– Впрочем, есть возможность избежать кары, – вдруг проговорил он как-то невнятно, однако был услышан. – Готов ли ты тайно служить мне и коллегии эфоров?

Арис взглянул ещё раз на его ногу, втоптавшую труды в песок, и вымолвил хрипло, толкая кадыком верёвку:

– Мне отвратительно рабское служение. Казни, коль вынес вердикт.

– Если это будет свободное служение? Вольного философа Эллады? Полноправного и благородного гражданина? Не отягощённого унижительным помилованием?

– Как же быть с твоим приговором? – голос не повиновался, словно дырявый, истрепленный ветром парус. – Я нарушил клятву, открыв тайну пергамента.

Эфор вынул из ларца его первые труды:

– На титулах нет твоего имени. Но есть иное.

– Этот человек присвоил сочинения.

– И одновременно присвоил вердикт о смерти. Твоё признание не есть доказательство твоей вины. Напротив, оно говорит о благородстве. Или я поступаю не по справедливости?

К изумлению Ариса, два стражника вывели на палубу корабля скрученного верёвками Лукреция Ирия! Эфор показал ему пергаментные книги.

– Твои ли это сочинения, римлянин?

Тот гордо расправил плечи и вскинул голову, насколько позволяли путы:

– Да, надзиратель! И слава моя переживёт смерть!

– Удави его, – спокойно велел Таисий Килиос.

Могучий палач накинул петлю на шею и, чуть согнувшись, поднял на спину Лукреция, как поднимают мешок с зерном. Несчастный засучил ногами, лицо его налилось кровью и скоро посинело вместе с языком, вывалившимся изо рта.

Почудилось, мешок этот прорвался, треснул и на палубу с дробным стуком посыпалось семя...

– Зри! – будто в яви послышался голос Биона.

И эфор ему в тон добавил:

– Это маска смерти. Твоей смерти, Аристотель. Так в тебе умерло тщеславие, доселе двигавшее твоими мыслями.

Между тем палач бросил ношу на палубу и удалился.

– Автор этих трудов казнён, – определил эфор. – И вкуче один из твоих пороков... Но что же сотворить с этими? Какие ещё пороки казнить с их помощью?

И снял ногу с рукописей на песке. Ветерок всколыхнул листья...

Арис молчал, а Таисий Килиос, взирая, с каким сожалением философ смотрит на свои попоранные труды, внезапно вдохновился:

– Гордыня и раболепие! Вот что принесу в жертву! Пожалуй, они более иных способны препятствовать постижению бытия.

Словно по незримой команде, палач вынес пылающий светоч и утвердил его возле эфора, как если бы наступила ночь и ему вновь потребовался свет, дабы читать труды.

– Снимите с него верёвки, – велел он.

Стражники тотчас сняли путы и помогли встать. Судья подозвал его знаком и снял ногу с папирусов.

– Подними и сожги это. Ибо твоей рукой водили гордыня и раболепие, когда ты творил труды.

– Да, эфор, я согласен, – подал он окрепший после верёвки голос. – Гордыня присутствовала, потому что неоконченное сочинение я писал втайне от господина... Но я не испытывал раболепия! И был, по сути, волен...

– Тогда почему на титуле обозначено имя твоего господина? Признайся, таким образом ты отстаивал право на жизнь? Что бы с тобой стало, не согласишься ты сочинять для олигарха?.. Сожги, что сотворил, будучи рабом, и станешь вольным.

Он склонился, чтобы поднять рукописи, и лишь тогда осознал, что поклонился эфору в ноги...

Чувствуя себя варваром, философ подпаливал листы папируса от свечоточа и бросал пылающие огни в море. Ветер относил их, иные даже вздымал вровень с мачтами корабля, но все они успевали стогреть в воздухе, и на воду опускался только пепел...

– Не жалеи, – снисходительно сказал Таисий Килиос. – Всё вернётся. Это горит не плод твоего ума – твои пороки.

– Мне ещё трудно осознать это, – обронил Арис. – И я всё ещё чувствую насилие над собой.

– Когда ты откроешь свою философскую школу... Она будет впоследствии называться ликей. Помещение для этой цели уже приготовлено, возле храма Аполлона Ликейского... Помнишь, где он в образе волка? Или забыл в странствиях?.. Волчья школа станут называть её, но ты не внимай молве. Волки благородны тем, что имеют страсть к воле. Ощущение насилия в тот час исчезнет и более никогда не возвратится. Вокруг тебя будут ученики, послушные твоему слову, как волчата. Придёт срок, и станешь учить и наставлять будущих царей, тиранов и гегемонов. А по прошествии многих лет мысли, рождённые тобой сейчас, овладеют умами всего просвещённого мира. Но всё это будет потом...

Арис обжёг руку, забыв выпустить пылающий папирус.

– Ты знаешь будущее?..

– Предсказание будущего оставим оракулам. Мы его будем творить сегодня. Мы заложим семя, которое прорастёт через тысячелетия.

– Послушав тебя, эфор, я впал в заблуждение, – признался философ. – Ты запрещаешь упоминать даже косвенно о том, как в самом деле устроен мир. Ты говоришь: всё это суть тайны Эллады... Право же, теперь не знаю, куда направить и к чему приложить свой инструмент, то бишь мысль.

– Нет, я не ошибся в тебе! – возрадовался надзиратель и вновь заскрипел сандалиями. – Ты избавился от пороков. И чист, как белый лист пергамента, способного пережить тысячелетия... Завидую тебе, Аристотель Стагирит! С той самой минуты, когда в твоём сочинении, преданном огню, прочитал о триединстве святынь, которую ты заметил у варваров. Ты предвосхитил мои самые смелые замыслы! Это благодаря тебе, прибылой волк, я полон вдохновения.

– Не понимаю твоего восторга, – в отчаянии промолвил Арис. – Ещё недавно ты хотел казнить меня! Казнил же римлянина, присвоившего сочинения!

И этот строгий хранитель тайн Эллады вдруг стал добродушен.

– В знак благодарности укажу путь, по которому ты и направишь свои мысли, – сказал он. – Твои будущие труды станут предтечей бога. Явление его ты предвосхитишь, поведав миру о том, как он, этот мир, устроен. Ты подготовишь сознание эллинов и варваров воспринять единого кумира, который смертью своей примирит непримиримое. Воистину завидная стезя – торить дорогу богу, строить мосты... К богу, вобравшему в себя истины от трёх сторон света. И единому в трёх лицах. В триединстве, означенном тобой, суть будущей веры, Аристотель. А смысл существования народов – в идее единобожия.

Философ ещё более смутился, ощущая, как мысль расползается, ровно сырой папирус.

– Если бы передо мной был не ты, эфор, я ответил бы: это невозможно. Я знаю Элладу и довольно попутешествовал и пожил среди диких племён. Эллины и варвары – строптивного нрава и весьма самодовольны. Невозможно даже представить, что бог у них один! И ему равно

поклоняются и те, и другие. Каковым же он должен быть, дабы увлечь собою и покорить сознание просвещённого эллина и дикаря? У меня не хватает воображения...

Эфор усмехнулся высокомерно, однако же, как учитель, не утратил терпения.

– Отняв святыни у варваров, мы обретём их знания. А они скоро забудут своих богов. Но восплают верой к тому, коего эллины распнут, дабы через преступление обрести веру в него. Ты, ведающий тайнами стихий мысли, этот путь знаешь и наставишь на него всю Середину Земли. Так мы изменим привычный ход вещей, в которых будет всего две половины – свет и тьма. Кто владеет истинами и проповедует веру, тот и правит миром.

– Но мир впадёт в хаос! Разразятся великие войны!

– Ты прав, философ... И это будут войны совсем иные. Они укажут истинные устремления мира. Ты видишь, во имя чего ныне сотворяются битвы: жажда добычи благ, земель, рабов и господства. Так было всегда, поскольку мир изобилует богами. Когда же их много, словно жён в гареме, расточается наше семя, суть вера. При триедином боге она возвысится, и на полях сражений зазвонят мечи не из-за наживы – из побуждений, вызванных идеей. Когда-то я подвиг фокийцев к захвату Дельфийского храма Аполлона и священных земель, мысля сплотить Элладу. Но что увидел? За десять лет священной войны амфикионы лишь укрепили Фокиду, никто из них не захотел сражаться за святыню насмерть. И я был вынужден послать царя варваров, Филиппа, дабы освободить Дельфы... При множестве богов нет веры, Аристотель. Но при едином боге все войны станут священными, и тогда весь мир будет лежать у ног Эллады. А варвары и Рим уже никогда более не посмеют ступить в её пределы. Напротив, их руками возможно станет покорять и нести веру тем, кто ещё не покорился и пребывает в скверне многобожия. И пусть они в своих землях разрушают и создают, чтобы вновь разрушать...

Философ невольно отступил и чуть не опрокинул светоч. Оставшийся в руке папирус загорелся.

– Кто ты, Таисий Килиос? – спросил он сдавленным голосом, словно на его шею опять набросили петлю.

– Эфор, надзирающий за тайнами Эллады.

– Почему я никогда не слышал о тебе? Ни Платон, ни Бион ни разу не произнесли твоего имени...

– И ты никогда не произнесёшь. Но всегда будешь помнить.

– Мои учителя? Они служили тебе?

– Они служили идее. И должен отметить, весьма прилежно исполняли мою волю. Иначе бы я не говорил сейчас с тобой.

– Я считал, весь мой путь – это череда случайностей, игра судьбы и обстоятельств... А ты уже знал, что произойдёт со мной?

На лице эфора вызрела каменная улыбка.

– Как вы одинаковы. Становится скучно... Я даже знал, что ты напишешь вот это, – он потряс пергаментными списками книг, – дабы удивить просвещённый мир тайной изготовления пергамента... Кстати, в твоём возрасте Платон уже писал об этом. И, как ты, яростно поклялся никогда не использовать кожу, заменив её листами папируса. Его юное сердце было возмущено, и я помню горячечные вопросы, полные пафоса...

И бросил сочинения себе под ноги.

Разум философа отказывался воспринимать то, чему внимало ухо.

– Платон знал секрет изготовления пергамента?

– Это было известно и Биону... И оба они отправили свои первые, не зрелые ещё, трактаты в огонь. Сделай это и ты.

Арис склонился и поднял книги.

– Неужели невозможно заменить пергамент папирусом? – безнадёжно спросил он.

– Вполне возможно. И не только папирусом. К примеру, высекать вечные истины на камне, отливать в бронзе, начертать их на золотых пластинах, как ты предлагал. Или, уподобясь варварам, писать золотом и рунами... Но переживут ли эти материалы вечность? Не захочется ли кому-нибудь разбить каменные плиты, дабы построить жилище, бронзу перековать в мечи, из золота начеканить монет?.. К тому же эти мёртвые материалы способны погубить, извратить истины. Они тотчас утратят сакральный, магический смысл, который рождается только на коже. Смысл, который станет вызывать благоговение и веру, лишь умножая её сообразно векам и тысячелетиям. Сакрален сам человеческий покров, и ты был свидетель тому... Но это уже тайна материй, которую я не вправе разглашать.

– Но могут вновь нагрязнить варвары!..

– Ты их остановишь.

– Я?!.

– А для чего Блон научил тебя видеть? Ты ведь исполнил уроки зрелости?

Уподобившись варвару, философ растрепал листы книги и поднёс к огню. Дешёвый овечий пергамент, насыщенный жиром и оттого жаждущий пламени, вспыхнул, тотчас испутив зловоние.

Арис же помнил ещё сладковатый, кружащий голову запах, исходящий от погребального костра на агоре Ольбии...

– У царя Македонии двенадцать лет тому родился отпрыск, – молвил эфор, взирая на огонь. – От жены Мирталы, которую он ныне прозывает Олимпией. Имя ему – Александр. Природа отрока божественна, по крайней мере, так говорит молва... Доподлинно известно, рождён он от скопца неким чудесным образом. Отец твой, Никомах, тому свидетель. Он ведь и ныне служит Филиппу придворным лекарем?

– Да, надзиратель, – насторожился Арис, вновь ожидая чего-нибудь дурного. – Отец мой служит Македонскому Льву...

– И ты ему послужишь, – Таисий Килиос подал свиток. – Царь шлёт тебе письмо, как говорят у варваров, бьёт челом. И просит тебя, философ, вскормить своего наследника, наставив на путь стихии мысли. Царевич норовлив и неприступен, ибо подвластен стихиям естества, всецело привержен варварским обычаям и воле матери. Боготворит её настолько, что склонен к инцесту. И это было бы приемлемо, чтобы вселить величие через кровосмешение. Я бы давно подтолкнул отрока в объятия матери... Но совокупление ещё более свяжет их, уже связанных незримой пуповиной. Тебе предстоит отсечь её и вывести Александра из плена этой страсти. Довольно будет, если убьёт отца... Однако исторгать эту страсть к матери не следует. Тебе придётся перевоплотить её в дух воинский. Ты же преуспел в искусстве перевоплощений качеств? Поезжай ко двору Филиппа и вскорми отрока послушным твоей воле...

– Уволь, эфор! – взмолился Арис. – Сей царь разрушил и пожёг мой родной Стагир!

– Он восстановит город.

– Я суть философ – не воспитатель отроков! Далёк от придворных страстей, интриг и прочих непотребных дел. Я мыслитель!

Таисий Килиос взглянул так, что огонь затрепетал и выслался, будто от порыва ветра.

– Ты помнишь, Блон наставлял: управлять государствами должно философам?

– Я это помню...

– Твой час настал!

Арис был смущён и растерян:

– Мне никогда не приходилось вторгаться в отношения царских семей... Я не родовспоможенец, чтобы рвать пуповины...

– Я научу тебя, – на сей раз благосклонно промолвил эфор. – Взойди на мой корабль... Дабы разорвать связь отрока с матерью, прельстишь своей женой Пифией. Как говорят в Вели-

кой Скуфи, клин клином вышибают. Она многоопытна и искусна в обольщении. Пусть отрок вкусит сладость её чар и тела. А ты воспримешь это философски...

На нетвёрдых ногах, ошеломлённый, Арис взошёл на триеру и только здесь опомнился:

– Но я не женат! Я холост, надзиратель! У меня есть невеста, но именем Гергилия. И я не знаю сей Пифии!

Логика его мыслей была непредсказуема.

– Тиран Атарнея, Гермий, тебе знаком? – спросил эфор, поднимаясь на корабль. – Вы были дружны в Афинах...

С Гермием из мизийского Атарнея философ учился в академии Платона и в самом деле был дружен в юношеские годы. Одержимый приверженностью к науке и стихии мысли, он оскотил себя, чтобы не расточать духовных сил на всё земное, и уговаривал Ариса примкнуть к когорте скопцов.

– Да, надзиратель, – подтвердил он, теряясь в догадках. – Но наши пути разошлись...

Эфор был посвящён во все детали их отношений и потому не утруждал себя выслушивать его растерянный лепет.

– И это сейчас тебе поможет отнять у тирана прелестную Пифию. Право же, зачем скопцу гетера, имеющая при своих прелестях ещё и философский ум?.. А тебе она будет женой достойной. Видят боги: нет на свете девы, которая бы превзошла её в искусстве обольщения...

## 2. Бич Божий

Он всего единожды испытывал ток крови в своём теле, когда, перевоплотившись в кентавра, мчал на себе прекрасную Пифию, жену философа. В другие времена, что бы ни совершал, что бы ни происходило на его глазах или с ним самим, царь не чуял биения своей крови, как не чувят воздуха, которым дышат.

И только на берегу Геллеспонта в тот миг, когда предстояло сделать первый шаг, вдруг ощутил её упругие толчки, как если бы обнаружил в себе нечто ранее неведомое, чужеродное, существующее в его естестве помимо воли, как второе сердце сросшегося близнеца, прежде обитавшего в плоти тайно и неосвязаемо.

Было чувство, что он опять перевоплощается в кентавра...

Полторы сотни больших и малых триер, галер, десятки лодок и плотов, нагруженных воинами, конями, колесницами, щитами, копьями и прочим снаряжением, замерли на прибрежных тихих отмелях. Прикованные цепями, рабы уже вознесли гребни над искристой от звёзд зеркальной водой, великое множество глаз устремилось в некую незримую во тьме точку, и чуткий слух улавливал всякий звук, оставалось лишь подать знак, дабы привести всё это в движение. Или порывы попутного ветра, ибо мятые, обвисшие паруса уже вздымались над судами и только вздрагивали, словно застоявшиеся кони.

Спешившаяся агема окружала царя с трёх сторон, у левого стремени был Каллисфен со свитком папируса, у правого – щербатый Клит Чёрный от напряжения скалил остатки зубов, поблескивал белками глаз, в любое мгновение готовый эхом повторить команду.

Но Александр сам нетерпеливо ждал некоего движения, проявления силы божественного естества – суть знака, не ведая, каким он будет: звезда ли воссияет над головой, озарив путь через пролив, небо ли разверзнется, а может, в единый миг перед копытами Буцефала соткётся нерукотворный зыбкий мост или противоположный берег, сорвавшись с места, надвинется из непроглядной тьмы и замкнёт море твердыней. Или, напротив, внезапной бурей взволнуется Геллеспонт, опрокидывая и выбрасывая на берег изготовленные в путь суда, ударит молния под ноги, оглушит гром, или исполинский Стражник Амона, каменный лев с обликом человека – сфинкс, восстанет вдруг из вод.

В столь решающий час боги должны были проявить волю свою! А он, потомок Ахилла и сын Мирталы, владевший многими эфирскими таинствами чародейства и сообщения с небесными владыками, ведавший суть воздаяния жертв и строго блюдающий обряд, тотчас бы истолковал всякий знак свыше и ему последовал.

И потому, как ночь оставалась безмолвной, морская гладь незабываемой, а в звёздчатых небесах разливался безмятежный покой и даже птица не смела возмутить его стихию, Александр всё сильнее испытывал биение крови. От вздувшихся жил вдруг стали тесноваты доспехи, любовно пригнанные бронниками к каждому изгибу мужающего торса, а мягкое чешуйчатое заворотье на кольчужном оплечье и вовсе перехватило горло. Он ощутил, как набрякло и отяжелело лицо от прихлынувшего жара и неподвижный морской воздух не мог остудить его; из-под кожаной оторочки боевого шлема выцедились и побежала к межглазью первая слеза солёного горячего пота, а голову охватил свербящий невыносимый зуд. Хотелось нащупать пряжку и сорвать шлем, однако всякое движение сейчас было бы растолковано Птолемеем и Клитом как сигнал к отправлению, и он терпел всё, ожидая знака богов, коим уже воздал жертвы.

– Скажи, государь, что ждёшь ты в этот решающий час? – не сдержался Каллис.

– Попутного ветра, – надменно усмехнулся царь, дабы не выдать своих чувств и надежд. Историограф зашелестел папирусом: верно, что-то записывал.

И вдруг на воде появился чёлн, рассекающий отражённые звёзды. Плеск вёсел, шум воды и неясное бормотание приближались, будучи в тот миг единственными звуками в истомлённом тишиной пространстве. Незримый гребец, оказывается, пел разудалую воинскую песнь, однако заунывным, скучным голосом уставшего путника и правил точно к носу галеры. Александр, единственно бывший в седле, скорее других различил во тьме белеющую согбенную спину и лохмы седых волос, разбросанных по плечам: что-то знакомое почудилось в образе одинокого мореплавателя.

– Перебежчик, – определил Птоломей. – Или посол.

Сей воевода у Геллеспонта стоял у царя под рукой, среди приближенных гетайров, поскольку был по крови братом Александру – сыном Филиппа от одной из его наложниц. Однако соединяло их не только родство. Птоломей проявил себя как полководец, предусмотрительный советник и преданный соратник. Разнило лишь одно: если царь с юности придерживался аскетичной жизни, то незаконнорождённый сын был нравом в отца и не ведал ни в чём воздержания, особенно с женщинами. С собой в обозе он возил воспитанных и прелестных гетер, поскольку мыслил, будто совокупление с ними насыщает его эллинским благородством. А чтобы сократить дистанцию и умалить порок, однажды царь подарил брату буланого жеребца, который на скачках, бывало, обгонял даже Буцефала. Птоломей с этим конём не расставался, потому что воспитывал брата и наставлял конюх Александра, знавший толк в скачках.

Парменион, переправившийся с отрядом несколькими днями раньше, без всякого сопротивления занял Абидос и донёс, что персов близ Геллеспонта нет и будто они изготовились встретить македонцев на Гранике. Даже конных разъездов нет, чтобы наблюдать за переправой! Столь неразумное их поведение Александр расценил как хитрость и потому велел ночью перегнать корабли и форсировать пролив в районе Трои.

– Кто бы ни был, приведи его ко мне, – велел он Птоломею, когда чёлн с тупым стуком причалил к царскому судну. – В такой час всякое явление – промысел богов.

Гетайры ринулись к челну, ловко подхватили гребца и поставили на палубу. И тут матёрый бык, стоящий на растяжках у носа корабля и обречённый на заклятие богу морских пучин, вдруг вскинул морду и взбугал, оглашая рёвом звёздный пролив. Тем часом одинокого гребца подвели к царю, и Александра передёрнуло от внезапного озноба: перед ним стоял волхв Старгаст, кости которого были замурованы в угловой башне Пеллы! Однако этот мертвец оказался во плоти, и белая живая кожа его лица отчётливо светилась даже в темноте, а из коротких рукавов посконной рубахи торчали увитые мышцами могучие руки, которые он помнил.

На мгновение детский ужас и любопытство обуяли царя, ибо перед взором возникло видение, как волхв, бывший кормильцем малолетнего царевича, приучал не бояться высоты: брал за ногу и свешивал в прострел между зубьев башни. И при этом велел наблюдать, что вокруг происходит. Александр тогда ещё носил детское имя – Бажен, выше зыбки не поднимался и далее крепостной стены ничего не видел, и тут, впервые оказавшись в поднебесье, да ещё вниз головой, испытал сначала лишь страх. Душа затрепетала, сердце, напротив, замерло, а из гортани сам собой вырвался ребячий клик испуганного восторга. Ему почудилось: звездочёт разжал руку и Бажен теперь летит вниз – земля стремительно приближалась, и ничего иного, кроме пыльного склона сухого рва, он в тот миг не узрел. И это был не страх неминуемой гибели, которого в ту пору он ещё не ведал и не осознавал состояния смерти, как окончание жизни; он ужаснулся неестественности перевёрнутого мира!

Так было и в другой раз, и в третий, пока волхв не приучил его не взирать на высоту и воспринимать окружающее пространство во всяком его виде.

И сейчас на одно мгновение мир опрокинулся, и Александр едва сдержал крик уstraшённого младенца. Старгаст же встряхнулся как-то по-собачьи, и с него на палубу осыпалось

что-то неразличимое, будто водяные брызги или дорожная пыль, а седые космы спали, и на голом темени оказался лишь длинный клочок, замотанный за ухо с тяжёлой золотой серьгой.

Бритая голова поблёскивала и светилась даже во тьме.

– И на кого же ты на сей раз исполнился, царь?

Насмешливый и дерзкий голос враз вернул его в привычное состояние, и перед взором очутился не старый волхв-кормилец, а молодой князь русов, выходявший с ним на поединок! Тот же нелепый вихор волос на голове, называемый чубом, ледяной, светящийся во тьме взор, и даже плетёный восьмиколенный кнут, собранный в кольцо, был замкнут в поднятой деснице! Столь неожиданное преобразование повергло Александра в неизвестную доселе оторопь, когда всё – и плоть, и мысль – костенеет и не повинуется, кровь леденеет в жилах и живыми остаются лишь взор и слух.

– Сказано тебе: не ищи чужих святынь. Не внял ты моей науке, изгой. Сам возомнил себя бичом божьим! А напрасно!

Сказал так и, распустив по палубе кнут, встряхнул его змеистое тело – раздвоенный хвост издал громкий щелчок.

Гетайры отчего-то безучастно стояли рядом и словно не слышали руса, не замечали, к чему тот изготовился, Каллис даже в потёмках шуршал пером, держа в зубах другое, с обсохшими чернилами, Птоломей же изготовил пальму, дабы вовремя подать знак к отчаливанию, а Клит тем часом вовсе отстранился и, склонившись, поправлял сползавшие поножи.

Столь неслыханная дерзость невесть откуда взявшегося здесь архонта Ольбии их не возмущала: по крайней мере, никто из агемы не выхватил меча или колыча, чтобы немедленно поразить хулителя. И только Буцефал, услышав щелчок, прижал уши и, приседая на задние ноги, стал сдавать, словно готовясь к прыжку – точно так же, как на ристалище.

Варвар поиграл кнутом, заставляя его плясать над палубой.

– Видно, мало я высек тебя на дору. Не вдосталь ты испытал бича моего! Ну так отведай ещё. На сей раз сполна воздам!

Леденящий панцирь оцепенения лопнул сначала в гортани.

– Зопир! – умоляющий вопль вырвался помимо воли. – Зопир, убей его!

В тот момент он даже не вспомнил, что Зопириона, свидетеля их поединка с этим русом, нет рядом, что тот остался на Капейском мысе близ Ольбии. Однако крик был услышан, гетайры встрепенулись и как-то беспомощно завертели головами, словно высматривая того, кому была дана команда убить. А тем временем варвар взметнул бич в воздух, и неумолимая петля уже полетела к белым перьям шлема, издавая пронзительный свист. Но в последний миг Буцефал под царём взвился, чуть не сронив седока, изогнутой могучей шеей заслониł всадника, принял удар на себя. И в тот же миг сам ударил копытами!

Рус отлетел на сажень и рухнул в толпу – недоумённая, захваченная врасплох агема даже увернуться не успела. Каллис уронил оба пера, а свиток папируса свернулся и пал на палубу.

Всё произошло стремительно, и то ли звенящий от напряжения глас царя, прозвучавший в ночной тишине, как призыв, то ли взъяренный и взвинченный на дыбы его конь был воспринят как знак – кормильцы на галерах подняли багры, гребцы разом ударили вёслами. И вздулись паруса! Тёмная суша оторвалась от судов почти одновременно по всей береговой линии, вокруг закипело пенистое месиво из взбитой воды и звёзд, и возникший ветер в единый миг смёл телесную оторопь.

Александр спешил, желая воочию позреть на поверженного супостата, и, когда гетайры расступились, увидел скомканное, словно тряпица, тело старика. Из разбитой и совершенно голой головы стекала кровь, а босые корявые ноги ещё царапали палубу. Однако же бича он не увидел – ни в руке, ни рядом...

Лишь папирусный свиток отчего-то катался взад-вперед.

– Где? – спросил царь и огляделся. – Где знак богов?..

Клит отчего-то забренчал щербатыми зубами, словно конь удилами:

– В челне лишь сеть дырявая...

– При нём был бич! Восьми колен!..

– Да полно, Александр, – промолвил Птоломей. – Этот плешивый старик здесь промышлял тунца...

– Я зрел в его деснице! Ищите бич!

Телохранители недоуменно оглядывались, ибо не дошлые, не чуткие, глухие к знакам богов такового не увидели, не услышали свистящего напева и хлёсткого щелчка. Но Александр в тот миг вдруг обнаружил рану, оставленную бичом: тонкая, поблёскивающая во мраке шкура Буцефала была рассечена на шее, и по вороной шерсти стекала кровь.

– Ищите же! Вот след!.. Бич божий станет моей добычей!

Обнял шею коня и тут узрел то, что искал!

Однако на его глазах деревянная рукоять раздулась, ожила и обратилась в пасть с раздвоенным языком, а плетёное тугое тело оделось в искристую змеиную шкуру. Извиваясь меж ног агемы и босых ступней гребцов, этот великий гад ползучий скользнул к борту галеры, там же обвил приподнятую гребь и в следующее мгновение растворился в блеске отражённых звёзд вкупе с веслом...

Он не замышлял похода к берегам Понта, не искал дорог в глубь земель скуфи и тем более в страны их племён – русов, древлян, полян, сколотов и прочих примыкающих к Рапейским горам, – ибо помнил наставления Старгаста. С малых лет волхв неустанно твердил об искусительной порочности и коварстве прямых путей и всячески от них оберегал. И Арис этому его убеждению вначале не препятствовал и даже иногда потворствовал, соглашаясь, мол, путь к истине тернист, и с любопытством взирал, как Александр, собрав знающих землепроходцев из числа старых гоплитов, бывших на службе у персов, странников-бродяг, мореходов и купцов, выводил сухопутные, речные и морские ходы в неизвестные страны. Бывало, и сам, возвращаясь из Афин, привозил царю ветхие, но драгоценные пергаменты, на коих были начертаны карты торговых путей, вплоть до Согдианы, Синего моря и реки Инда, а также означены многие города, крепости, горные ущелья и теснины, доступные для конниц и верблюжьих караванов, перевалы, песчаные пустыни и прочие труднопроходимые места. Однако и ему, сведущему в архивных делах, никак не удавалось добыть указаний, где именно расположена, к примеру, сакральная столица Персии – Персеполь, и тем более свидетельств о местонахождении некоей Страны городов в Рапях, где сподобился побывать философ. А за рекою Инд и вовсе был мрак никем не знаемых, неведомых земель, однако же, по слухам, богатейших.

Покуда Зопирион топтал широкое поле близ Пеллы, оттачивая действия тяжёлых пехотных фаланг, а Клит Чёрный гонял по взгорьям лёгких гетайров, сам молодой царь вкупе с Каллисфеном и старым полководцем Парменионом прокладывал путь будущему походу, который и должен был начаться с переправы через Геллеспонт. Учитель Арис тем временем был в родном городе Стагире, возрождённом из пепла, и, вернувшись, внезапно изменил своё стороннее отношение к намерениям Александра. Он вызвался самолично поучаствовать в первом походе, причём идти советовал не на Восток, чтобы отомстить Дарию за обиды, нанесенные Элладе, а в полунощную сторону, на Понт. По его разумению, отправляясь в дальний путь, сначала следовало бы позаботиться о доме: что станет с Македонией, если оставить у себя в тылу непокорённых, своенравных и непредсказуемых варваров? Пока, мол, ищешь славы и чужих земель, свои утратишь...

Далёкий от воинского искусства, философ уподобился стратегу и предложил вторжение в Скуфь Великую, а прежде всего намеревался отнять греческие полисы Понта, много лет бывшие под её владычеством. Варвары, населяющие земли к полунощи от моря, никогда ещё не испытывали вторжений македонцев и грандиозных поражений, а потому-де не способны будут

быстро оправиться, собрать союзников либо призвать на помощь персов, с которыми сами часто воюют. И тогда откроется единственный прямой путь к Рапейским горам и в Страну городов, которые хоть и имеют высокие стены, но жители их совершенно не умеют воевать и защищаться, ибо по характеру прямодушны и невоинственны.

В молодые годы Арис несколько лет пробыл в Ольбии, где по велению Платона обучался у Биона Понтийского и пережил страшный набег тогда ещё неведомых на берегах Понта русов, после которого город и оказался под властью Скуфи Великой. Учитель часто вспоминал, как чубатые варвары покорили полис, и многие его примеры начинались со слов об устройстве жизни славной и цветущей Ольбии, имя которой означало Счастливая. Однако из морской пучины вышли неумолимые и кровожадные варвары, и потому Александр услышал в предложении скрытый мотив мести, замешенный с тоской по ушедшей молодости. Он считал: по этой же причине Арис чаще стал навещать свой родной Стагир, заново отстроенный после разорения его Филиппом, – будто бы сына своего искал...

Но философ опроверг всяческие догадки царя, сообщив об истинной цели похода на полунощные понтийские берега. Старый и мудрый БIon прослыл ещё и оракулом, поэтому, зная о грядущем набеге, вынес из библиотеки и замуровал в стене башни географию – некие свитки с чертежами и указанием точных мест, где хранятся святыни варваров.

Последним доводом Ариса, изменившим замыслы, стало его утверждение, будто Дарий давно прослышал о том, куда вознамерился идти молодой царь Македонии, и уже готовится встретить у берегов Геллеспонта, а скуфь не ждёт его появления в пределах Ольбии Понтийской, и сейчас там нет сколь-нибудь значительной силы, способной противостоять фалангам и конницам Александра. Варвары же давно уверовали в своё могущество, пребывают в полной беспечности и междоусобных расправах, которые затевают без причины, потехи ради.

Несмотря на осеннее, не совсем подходящее для войны время и ведомый юной пылкостью, царь оставил старых ропщущих полководцев в Македонии, поручив готовить им поход на Восток, сам же вкупе с Аристотелем да храбрым молодым Зопирионом выступил в полунощную сторону. А чтобы и вовсе ошеломить противника и ввести его в заблуждение, он двинулся путём Филиппа, словно заново повторяя покорение уже покорённой отцом и подданной Фракии. Недоумённые фракийцы не оказывали сопротивления македонцам, помня недавний разор, отворяли перед ними города, выносили дары и всячески славил молодого царя. Однако тот будто и не замечал их подобострастия и открытых ворот, велел Зопириону всякий раз облачаться в доспехи и с ходу идти на приступ, для устрашения поджигая только что отстроенные дома пригородных землепашцев. Сам же тем временем взирал откуда-нибудь с холма за действиями своего войска – война получалась увлекательной, забавной и бескровной.

И покатила впереди слава: дескать, молодой царь чинит забавы, подражая своему суровому и беспощадному родителю, который при жизни носил прозвище Македонский Лев и жестоко подавлял бунты всех окрестных народов. Так Александр прошёл всю Фракию и, оказавшись во владениях скуфи, на берегах Понта, вздумал окончательно сбить её с толку: не тронул Тиру, обойдя город стороной, и внезапно оказался перед Ольбией.

Великая Скуфь, падкая на всяческие забавы, наблюдая за столь потешным походом, по расчётам философа, должна была и вовсе утратить бдительность, однако хора – селения окрест полиса – оказалась пустой, впрочем, как и причал в гавани, и торжище у моря. Одни лишь бездомные псы бродили между рядами, ища, чем поживиться. Вероятно, сколоты, живущие с сохи, бросили несжатые нивы и виноградники, купцы угнали свои суда за Капейский мыс, и все заранее укрылись в крепости. По сведениям философа, скуфь понтийская не имела постоянной рати – наёмных служилых воинов, кроме городской стражи, но при угрозе вторжения супостата в кратчайший срок исполчалась, ибо всякий, кто носил скуфейчатую шапку, и стар, и млад, все становились в боевой порядок. И только чада малые да глубокие старцы, кто по летам своим жил с непокрытой головой, оставались с женщинами в обозе. К тому часу лазут-

чики слух донесли: мол, слыша о походе, варвары взяли за оружие и полны решимости сразиться насмерть, но крепости не сдавать. Однако на высоких зубчатых стенах не было видно ни единого защитника – всё выглядело так, ровно город вымер или затаился, дабы смутить македонцев.

По убеждению Ариса, населяла Ольбию в основном скуфь оседлая и благородная, именуемая сколотами, пришедшими сюда из разных мест и промышлявшими хлебопашеством, купечеством да мореходством. Кроме них, в покорённом городе поселились ватаги воинственных чубатых русов, златокузнецы и ремесленники могущественных саров, оставшиеся после разгрома, вельможи трибаллов, богатые фракийцы, тавры, алазоны – в общем, все те, кого эллины именовали варварами, поскольку эти народы перед схваткой имели обычай не жертвы воздавать своим богам и молить их о победе, а, сбросив латы и обнаживши тело, распалать себя кличем: «Вар-вар!».

Арис не единожды позрел, как скуфь исполчалась на врага своего, и слышал сей громогласный звериный рёв, взметавшийся над боевым порядком, но даже сведомому Геродоту было невдомёк, зачем они терзают глотки, исторгая неблагозвучие. Кричать перед побоищем на всех наречиях скуфи означало важить, то есть разжигать себя громким гласом. И варвары важили всегда и повсеместно, коль приходилось им, к примеру, ворочать тяжкие камни или сволакивать суда, иль дерева огромные вздывать на стены крепостей; всюду, где мощи человеческой не доставало, они призывали божественную кличем, но клич уж был иной: «Раз-два – взяли!».

Так, восклицая, они призывали в помощь бога Раза, молились и слагали силы, совершая то, чему потом дивились сами.

Но перед битвой они важили особенно усердно, даже иступлённо, и рёв «Вар-вар!» разносился на десятки стадий, подобно обвалу горному, листва с дерев слетала, в ущельях с круч свергались камни лежачие, вода на море волновалась без ветра. И был сей ор сущ не для того, чтобы посеять страх и панику в рядах супостата, хотя от такого крика охватывал озноб и дрожь под коленями; подобным диким воплем простодушная в обыденной жизни скуфь вздымала в себе дух воинский, называемый отвагой, то есть от важи, от крика обрётённый. Войдя в неистовство от своего же гласа, этот разноплемённый народ становился будто один человек, смыкался в плоть единую и обретал безумную отвагу, скрещённую с невероятной, нечеловечьей мощью, и всё это вкупе называлось раж.

А потому у варваров всякая битва с супротивником именовалась сражением, то есть деянием, совершённым в состоянии ража.

Клич «Вар-вар!» одновременно был и обращением к варварскому богу войны, носящему три прозвища, и ежели скуфь полунощных племён называла его Один, а сколоты – Перший или Перун, то чубатые русы именовали его, как и эпириоты, Раз. А на самом деле у них бог был один для всех, впрочем, как и речь, и головные уборы, называемые скуфь, за что в Элладе так и прозвали варваров – по шапке дали имя. Даже изведавшему суть сущности этого народа Геродоту не удалось проникнуть в тайну разночтений, и он считал: скуфь потому воинственна изрядно, что имеет трёх богов войны. И заблуждение сие Арис открыл однажды, проникнув в тайну варварского бытия: согласно их воззрению, владыка всех сражений был трёхголовым или трёхликим при едином теле и также носил три имени! И ежели одни скажут Триглав, другие – Трояк, а иные кличут Троян.

Если ухо не привыкло к подобному варварскому многоголосью, а ум к чудным обычаям и взглядам, не сразу и разберёшь, каковы их боги и кто есть кто в сём пантеоне, который выше и важнее. Виной всему была вольность суждений, именовали кто во что горазд, и только боевой клич в многоустье звучал однообразно: «Вар-вар!». А коль в битве одержат верх, сомнут противника и в бегство обратят или вовсе одолеют насмерть, то раж свой лютей отринут вмиг и не добычу делят, но шапки скуфейчатые бросают в небо и рычат иначе – «Ура!» – и резвятся при сём, ровно ребята малые, ибо несмыслёны становятся и охочи до забав.

Потом же правят тризну по всем, кто лёг на поле брани, – по супостатам и по своим павшим братьям. Тела врагов, по обыкновению, свозили и хоронили в земляных ямах— в могилах, никоим образом не отмечая места, но долго помня, где и чья сила была предана червям трупоедным на поживу. Земная твердь на всех скуфских наречиях обозначалась словом и знаком Ар, засим и открывался смысл их неистового рева: варвары кричали: «В землю, в землю!».

Но единоплеменников своих, согласно обычаю, отмывали от крови, власы расчёсывали, наряжали в одежды скорбные, в ладьи смолёные возлагали и, укрывши сухими деревьями, хворостом, соломой, сначала предавали огню и горько оплакивали. После чего собирали пепел от сожжённых тел и, всыпав в сосуды, ставили на возвышенности, камнями огораживали или срубом. Туда же помещали прикрасы из золота, кубки, оружие и даже колесницы, а коль вельможным убиенный был, то и рабов кололи, коней и кречетов, затем же много дней подряд носили землю и насыпали курган высокий – гору рукотворную, которую видно за многие десятки стадий. У иных же племён скуфи есть и иные обычаи – ставить сосуды с прахом вдоль дорог или порубежий своей земли, мол, пепел имеет магическую суть и будет стеречь их землю от нашествий: тут тоже были кто во что горазд. По окончании этих скорбных дел варвары устраивали сначала потешные состязания и поединки, потом разгульный пир с плясками и песнопениями, словно на празднике Бахуса.

В общем, всё по своему дикому, причудливому нраву.

О нравах скуфи и её обычаях Арис давно уже твердил Александру, наставляя с ранних лет, дабы изведаль тайную суть будущего супостата и не страшился крика, коль голосистая скуфь вздумает важить перед битвой. Однако, лишь оказавшись в пределах Ольбии, признался, что с умыслом скрыл одно наблюдение. Он и прежде так поступал: поведает о некоем явлении или философской истине, однако же чего-то недоскажет, чтобы понудить царевича самому домыслить недостающее или внезапно потом сразить, на брешь указав.

И тут, под стенами крепости, философ заключил то, о чём давно твердил. Будто ещё в отроческие годы он, будучи сыном придворного лекаря царей Аминты и потом Филиппа, был свидетелем, как македонские фаланги и конницы гетайров, постигая воинское ремесло на полях близ Пеллы, подобно диким варварам, издавали боевой клич «Вар-вар!» и победный «Ура!». И делали сие по той причине, что корнями своими македонцы увязали в Великой Скуфи и были её плоть от плоти, прозываясь словенами, ибо в былые времена промышляли ловом, в чём изрядно преуспевали.

Подобному откровению учителя Александр немало изумился, потому что при дворе почти не слышал ни скуфской обиходной речи, ни словенской, ни прочих наречий её племён, за исключением единственного – эфирского, поскольку мать Миртала, наречённая Филиппом на греческий манер Олимпией, а вкупе с ней волхв Старгаст втайне от царя пели ему колыбельные и сказывали сказы языком Эпира, весьма схожим со словенским. Но это лишь в отроческие годы. Все иные учителя и кормильцы учили греческому слову и обычаю, поскольку Филипп ещё до рождения сына отверг старых кумиров, избрал для Македонии богов Эллады, её просвещённый нрав и образ. А также указом своим строгим запретил придворным, воинам и прочей знати уподобляться варварам и важить, то есть рычать по-зверски, – мол, это язык гнусного простолоудья. Он стремился прославиться по эллинскому обычаю и возвысить царство достойно Спарте, чтобы никто не смел указать перстом и презрительно молвить: «Македонцы суть скуфь и варвары, подобные словенским племенам». Воинская спартанская наука не прибегала к безумству и неистовству, возбуждая раж сим глупым, мерзким криком, а достигала отваги, силы и мужества воспитанием телесного совершенства, здравого ума и эллинского неукротимого духа.

В итоге философ заключил, что ныне во всей Македонии уже не сыскать тех, кто помнит ещё, как можно вызвать в себе раж: всего за одно поколение воины забыли грозный, леденящий крик, впрочем, как и своих богов. И бог Раз, который прежде насылал скуфи безумную храб-

рость и силу в ответ на клич, более не внимал отвергнувшим его. Это же означает: варварским тайным ремеслом, умением перевоплощать отвагу человеческую в божественную, насыщаясь ражем, теперь не овладеть.

Арису доводилось зреть в варварских храмах, на распутьях и береговых святилищах скуфи изваяния сего кумира: по образу он вроде бы такой же громовержец, как Зевс, и молнии в деснице, но будто бы рождён от самой Ехидны, ибо вместо ног имеет змеиные тела. По скуфскому нелепому разумению, единый в трёх лицах, Раз, Перший и Один, то бишь Троян, соединяет все три стихии мира: небесное, земное и преисподнюю. То есть – небожитель, смертный человек и Змей Горыныч, один в трёх ипостасях!

Послушав ушлого философа, царь вымолвил, взирая на крепостные стены Ольбии:

– А мне бы хотелось овладеть. И бросить клич «Вар-вар!». С такой неистовою силой, чтобы низвергнуть тех, кто затаился на забралах и зрит на нас... Чтобы потом воскликнуть «Ура!». И пляски учинить...

И дабы испытать, откинулся в седле и громогласно прокричал в небеса:

– Вар-вар! Вар-вар! Вар-вар!

Пространство на миг всколыхнулось, и вместе с ним, словно забытый сон ребячий, вдруг перед взором встал насмешливый Старгаст, будто бы науку свою чинил: взял за ногу и свесил с забрала вниз головой. Привычный уже мир на мгновение перевернулся, и обнажилась его изнаночная сторона. Однако Арис засмеялся и тем вернул из былого:

– Оставь забавы, царь! Криком полков не победить.

И, зная Ольбию с давних ещё времён, поведал тайну, что ему известен узкий ход в верхний город – сквозь каменный жёлоб водопровода, по которому в молодые годы проникал не раз. Под покровом ночи стоит лишь нырнуть в поток ручья, что уходит глубоко под стену, и вынырнуть близ соляного склада, в бассейне, откуда город брал воду. Проникнув же в крепость, надобно отыскать греков, с ними сговориться, дабы пред утром перебили стражу и открыли ворота, поскольку царь македонский явился сюда, чтобы отомстить варварам, вызволить эллинов и освободить полис. Собственно греков было немного в Ольбии, около четверти от прочих насельников, ибо множество их истребили или продали в рабство ещё во время покорения города. Оставшиеся же наверняка давно смирились со своей участью и, если послать кого-нито, могут не поверить и в стговор не вступить, а потому Арис вызвался сам, полагая, что същёт тех горожан, кто его помнит как ученика высокочтимого покойного ныне Биона.

Весь остаток дня Зопирион разводил фаланги вокруг Ольбии, готовил осадные щиты, тараны, катапульты и лестницы, давая понять защитникам, что утром македонцы пойдут на приступ высоких стен, а ночью велел жечь костры и создавать побольше шума, дабы отвлечь супостата, не дать ему уснуть. Выспавшийся воин сражается вдвое упорнее, ибо полон сил и несонлив. Супостат же, покуда было светло, никак не проявлялся на стенах, однако с наступлением глухой осенней тьмы зоркие соглядатаи заметили некие призрачные тени меж зубьев на башнях и забралах: ольбийцы опасались ночного нападения и изготвились.

Тем часом Арис, сменив одежды эллина на скуфские, из кожи, отыскал ручей, что питал город водой, и забрался в жёлоб. Стремительный поток подхватил его и унёс в каменную тесную пещеру, что уходила под крепость. Александр, проводив учителя, не мог ждать исхода вылазки в своём шатре, а снявши белые перья со шлема, чтобы не искушать врага, остался в боевых порядках, среди костров, которые слепили незримых осаждённых и подвигали проявить себя. Однако город замер, словно покинутый корабль: ни гомона, ни звука, ни огонька – собака не взлает и бык не взбугнёт, хотя в крепости должно быть и народу, и скота довольно. У всех ворот, укрываясь мраком, застыли воины, готовые ринуться в Ольбию, как только скрипнут кованые петли, лазутчики и вовсе затаились под стенами, обнажив мечи, но на башнях даже не возникло стражи.

А тишина казалась зловещей, уж лучше бы варвары клич свой издавали, входили в раж! Тревога вкрадывалась в сердце вкупе с сомнениями: что-то замыслили коварное или так беспечны и самоуверенны, коль даже в предрассветный час, когда следует ждать нападения, стрелы не выпустили со стен, факела не подняли, чтобы осветить подножие крепости! Только в прострелах башен возникают и пропадают некие призрачные, бесплотные очертания людей, напоминающие тени мёртвых: сойдутся и вроде бы что-то обсуждают или вновь разбредутся по забралам.

И Арис, исчезнувший в водопроводе, не давал о себе знать, хотя была пора уж отпирать ворота...

Уставши ждать, царь велел забросить в верхний город две дюжины пылающих головней и глиняных сосудов с горючицей, вызвать пожар, сумятицу, движение. Огненные молнии, запущенные катапультами, прочертили небо, столбы искр поднялись за стенами, и вслед им зардела на ветру добрая сотня зажигательных стрел, однако же в ответ безмолвие, и отчего-то не вспыхнула смола, отправленная в горшках, не запылали деревянные кровли построек, запасы сена – ничто не загорелось, что могло гореть! И даже призраки на стенах не всполошились, продолжая бродить вдоль бойниц.

Теперь и македонцы примолкли, взирая на молчаливую крепость. Царь уже хотел послать лазутчиков тем же путем, через водопровод, однако воины агемы принесли на щитах философа, промокшего насквозь, продрогшего до смертной синевы, однако же живого. Он не мог и слова вымолвить, а только жался к огню и будто бы что-то шептал, словно безумный. Ариса положили на шкуры, укрыли овчиной, и царь напоил его горячим вином из своих рук, но, прежде чем учитель заговорил, миновало около часа и начало светать.

– Я в Ольбию пробрался, – с трудом вымолвил он. – Чуть только не утоп, вода студёная... Там стража... Обошёл весь город... А в башню не проник! Сил едва хватило вернуться... Там география, пергаменты... На коих пути начертаны... И соотечественников нет. Нет никого!.. Лишь скот... Не бери Ольбию, царь. Ни славы, ни счастья она не принесёт... Добудь географию и ступай...

Но вместе с восходом солнца и речь его оборвалась, и ум погас. Царь посчитал, всё это у философа приключилось от простуды в ледяной воде, бегущей со стылых осенних гор. Кое-как согревшись, философ вроде бы оживился, попытался встать, но вымолвил лишь несколько слов:

– Коль не умер на восходе... Ещё один день отпущен...

Его ноги подкосились, речь стала несвязной, а вид немощным и жалким. Александр велел снести учителя в свой шатёр, согреть и обиходить, чтобы набрался сил. И тут явился Зопирион.

– Мои храбрецы с рассветом приставили лестницы!.. И поднялись на забрала!.. – сообщил он. – Городская стража лишь у ворот. Повсюду бродят коровы, овцы – огромные стада! Меж ними редкие старики без шапок и малые дети. И более ни живой души!.. Пора на приступ!

Избалованный лёгкими победами во Фракии, сей воевода захлёбывался от восторга, как учитель от жара. Александр же мыслил сразиться с супостатом, а не брать приступом беззащитную Ольбию, куда согнали животных, чтобы и далее не распускать о себе худой славы: мол, юный владыка Македонии воюет с тенями усопших да со скотом. Что, если варвары потешиться вздумали? А ещё хуже – мор на них напал, хворь заразная, которая случалась в понтийских полисах? Или досужая в коварстве, искушённая всяческими хитростями скуфь намерена заманить в ловушку?

– Где же супротивник, Зопир? – тая насторожённое изумление, спросил царь. – Слух был, исполчились...

– Должно, бежал наш супротивник!

Даже если бы сейчас Ольбия растворила перед ним все ворота, Александр бы не вошёл, ибо предчувствовал дурное. Неужто варвары и впрямь замыслили потеху над македонцами, а посеку загнали скот, город оставили без прикрытия и сами попрятались, однако не от страха?

Томимый глубоким разочарованием, царь захотел испросить совета у философа, но у того начался сильный жар и бред бессмысленный.

– Огонь! Огонь!.. – взывал он. – Они спалили город! Кончилось время... Пить не хочу!.. Не давайте воды чумному...

Полдюжины лекарей хлопотали возле, то укрывали перинами, то, напротив, махали опахалами и водой мочили, давали снадобье, окуривали индийскими благовониями и не могли помочь. Арис корчился, дрожал и тянулся к царю, силясь что-то сказать, но из воспалённых уст изрыгался хрип и уже речь бессвязная. Александр велел всем покинуть шатёр и сам склонился над страждущим.

И вдруг из его череды слов, как из потока нечистот, два всё же достигли уха! И почудилось: ледяная скрюченная рука учителя проникла в грудную клетку и схватила сердце.

– ...Аспидная чума!..

А далее снова бессвязный лепет:

– Мы не добыли время... Оно истекло в песок... Надо сжечь наши города! И выстроить новые!.. Воевать и строить! Воевать и строить!

Сын придворного лекаря с раннего детства причастен был к медицине и, преуспев в этой науке, щедро делился с учеником. Александр знал: подобная болезнь разит всякого, кто лишь приблизится к хворому; она отравляет воду, воздух и летит по ветру, а спасение от напасти одно – огонь очистительный.

В короткий миг царь испытал, насколько ранима и тонка грань между радостью бытия и скорбью, между жизнью и смертью. Насколько иллюзорно всё то, что ещё вчера двигало им, вызвало жажду устремлений, а в сей миг уже ничего не ценно – ни победы, ни слава, ни добыча!

А в лицо дохнули всего два слова – аспидная чума! И в подтверждение этому учитель стал бормотать слова, из которых следовало, что жить ему оставалось до восхода. Если не сжечь город и не отстроить новый... Последней стадией болезни, когда жизнь ещё теплится, но угасает память, был страх перед стихиями воды и огня. Поэтому он, как заклинание, шептал:

– Воды мне не давайте!.. Не подносите света!..

Или стонал в бреду:

– Спасёт огонь... Скуфь ведает, от чумы есть зелье!.. Я слышал, некий бальзам... Они называют его ЧУ... Сотвори чудо и добудь его!..

Но Александр в эту безумную речь не вникал, ибо отроческая неуёмная обида охватила! Мыслил превзойти отца, которого звали Македонский Лев, покорить весь мир, добыть в походах то, что искали все философы, отчаянные полководцы и мореходы, что воспевали в гимнах поэты, прославляя подвиги Геракла и аргонавтов во главе с Ясоном! Предстоящая жизнь чудилась вечной, наполненной и тугой, как под ветром парус. И в первом же походе, ещё не скрестив меча с супостатом и даже не позрев на него, не испытав торжества победы, сладкого искуса славы, так нелепо окончить путь!..

Забывшись от обидных мыслей, он брёл, не ведая куда и увлекая за собой свиту, а Зопирион бегал возле, оказываясь то справа, то слева, и что-то с жаром говорил, должно быть, спрашивал соизволения пойти на приступ, но Александр не внимал ему и думал: «Я умру, вот только минет срок... Прежде стану безумным, как учитель. И буду бредить в жару, испытывать, как сгорает их мозг... Ты тоже умрёшь. Кто был под стенами Ольбии, всех ждёт один конец. И многие уже не позрят восхода...».

Так скоротечна и летуча была аспидная чума.

Он уж хотел сказать о том, что услышал от Ариса, поведавать о болезни и очистительном огне, но, стиснув зубы, промолчал: тотчас же начнется паника, великий бег, и тридцать тысяч

войска ринутся в обратный путь, сея болезнь лихую. Пехота не дойдёт, но конница, передавая хворь, ровно весть о победе, доскачет до пределов Македонии...

Люди умирали, однако скот и лошади, знающие дорогу к дому, были избавлены от напасти и могли в своих сёдлах принести умерших всадников, суть заразу...

А заразный ветер довершит кару варварских богов.

Все эти мысли позволили царю стряхнуть обиду и вспомнить, кто он есть, насытиться волей, и посему владыка Македонии и словом не обмолвился о том, что услышал из бредовых слов философа. Пехотинцы же и конники ничего не подозревали и, осмелев с восходом, открыто приставляли лестницы, без воли воевод, карабкались на стены и с любопытством взирали, что там сокрыто. И все кричали с радостью, предчувствовали, что битва не состоится и погибель от супостата ныне не наступит:

– Здесь пусто!

Но Александр слышал иное в их голосах:

– Смерть примем не от варваров! И не сегодня!

И лучше бы приняли её на стенах, от мечей и копий, лучше бы хребты ломали, свергнутые наземь, чем корчились в агонии от жара и чумного безумства, как ныне учитель...

И сам бы сразился с превеликой страстью, дабы умереть в бою и обрести воинскую славу и не изведать позора смерти от чумной болезни.

– На приступ не ходить, – словно очнувшись, велел царь. – Фаланги не смыкать, а отвести от стен и жечь костры. Воды из источников не брать.

Зопирион вдруг что-то заподозрил:

– Помилуй, царь!.. Вода здесь превосходная! С высоких гор течёт... И не отравлена, коней поили!.. Да и сами пьём!

И тут неведомо откуда среди осаждавших крепость македонцев оказался пастух в изветшавших кожаных одеждах и безоружный, только бич в руке. Как и откуда взялся, никто из македонцев не увидел и не поднял тревоги.

– Не врагов ли себе ищешь, царь? – весело спросил он. – Сразиться тешишь мысль?

Воины агемы встрепенулись, и одни собою заслонили Александра, другие же схватили варвара, тот поддался.

– Я зрю врага, – царь оттолкнул телохранителей. – Но он неосязаем для меча моего, незрим для ока.

Пастух извещал его иносказание, чему-то усмехнулся.

– Должно быть, впрямь узрел... И не поддался страху. А как ты мыслишь сразиться с нами? Ратью на рать сойтись на поле? Покуда воины твои стоят на ногах? Иль в поединке, на ристалище? Дабы не проливать лишней крови?

– Мне всё по нраву!

– Добро! – Варвар стряхнул с рук телохранителей и вынул монету. – Давай бросим жребий. Коль выпадет конь, быть битве между ратями. А колесница – единоборству быть!

– Готов испытать судьбу и по жребию, – согласился Александр. – Но с кем сразятся мои фаланги, если выпадет конь? Не зрю ни единой вашей шапки, а со мной пришли тридцать тысяч македонцев.

– Скуфь тебе укажу! – рассмеялся сей весёлый пастырь. – Здесь недалече мои полки.

Царь оглядел его надменным взором:

– А если твоя монета падёт колесницей вверх? С кем я сойду?

– Со мной!

– С тобой не по достоинству. Пусть выйдет на ристалище ваш царь!

– Царь наш далече, за сто дней пути. Сам не видал его, да, сказывают, юн больно, ещё не сидит в седле. А старого царя твой отец убил. Возможно и позвать юнца, но станешь ли ждать,

когда охота славы? И славно ли тебе сходитья с отроком? Сразись со мной. Я князь и ныне владею Ольбией. По-вашему – архонт. Чем не супротивник?

Сказал так варвар и сдёрнул шапку, выпустив на волю долгий клочок волос на темени, суть чуб или иначе оселедец – знак принадлежности к воинственному племени русов и скотов. А в его правом ухе, словно подкова конская, сверкнула увесистая княжеская серьга.

Александр в тот миг подумал, что и впрямь царя ему не дождаться, добро бы дожить до вечера, покуда аспидная чума не покрыла безумным жаром...

– Быть посему, – согласился он, усмиряя гордыню. – Не медли же, архонт. Веди, показывай скуфь свою и поле брани. Там и метнёшь жребий!

Царь всё же тешил мысль над этим нелепым князем посмеяться, ибо лазутчики прорыскали окрестности полиса на много стадий вглубь и войска варваров не обнаружили. Если от чумы и спасся кто из них, то малая ватага. Упрятать даже полк близ Ольбии стало бы невозможно: две балки с восточной и полунощной сторон открыты взору, лес давно порублен, а далее нивы несжатые, маслические сады, виноградники да всхолмлённая степь.

Скуфский архонт обмотал вокруг уха с серьгой чуб, покрыл голову шапкой и свистнул. И тут из травы, словно из-под земли, встал конь соловой масти и к князю устремился.

– Поедем, царь! – Он вскочил в седло. – И верно, след поспешать!

Телохранители агемы тотчас же подвели Александру Буцефала, а Зопирион, обескураженный поведением царя и более его разговором со скуфским пастухом, стоял, разинув рот.

– Труби сбор и поезжай за мной! – понудил его царь. – Позрим на воинство врага. А то жребий бросим, а сходитья не с кем!

– Не пекись напрасно! – вновь засмеялся князь и понужнул коня. – Полков довольно, и каждый о сорока ватагах. Будет с кем сразиться, коль жребий выпадет.

– Отчего же ты, архонт, оставил Ольбию? Имея столько войска?

Тот бездумно махнул десницей:

– А у нас мор случился, ты же позрел. Хворь ветром нанесло, аспидную чуму. Неделя тому, как охватила город...

– И ты ведёшь меня, чтобы мертвецов явить?

– Да отчего же, царь? Покуда живы все и здравствуют. Вот ежели сражение случится...

Александр изумился несмысленности варвара, однако же промолвил:

– Чумные обречены не зреть восхода.

– И верно, царь. – Они ехали стремя в стремя. – Хворь скоротечна... Потому мы скот загнали в город, а сами на пастбище. Ныне полунощного ветра ожидаем, по-вашему – борея. А как проветрится земля и с нею Ольбия, вернёмся. Нам не впервой...

Сведомый в медицине, учитель уверял: единственное снадобье от сей болезни – огонь очистительный, когда сжигают бедные жилища, царские дворцы и города. Вкупе с покойными и хворыми, кто жив ещё, – без всякого разбора, дабы спалить заразу и не распускать её по ветру. И всё это сотворить до следующего восхода солнца.

А этот безмудрый рус, напротив, оставил город, медлил и ждал борея!

Недолго ехали – всего лишь балку миновали да поднялись на холм, с которого открылась степь. Князь натянул поводья:

– Вот мои полки...

Перед взором, словно море, плескался волнами ковыль, изрядно побитый конскими копытами, орлы кружили в поднебесье...

И ни души вокруг!

Но тут буланый жеребец под архонтом заржал призывно, степь всколыхнулась, и будто пелена спала с очей: не ковыль – скуфейчатые шапки и табуны коней до окоёма покрывали поле! Варвары искусны были прятаться от глаза даже на открытом месте, для чего подбирали

масть лошадей, стригли гривы и сами укрывались валяными попонами. А кони их приучены ложиться наземь и будто растворяться среди вольных трав.

Завидя князя, скуфь в единую минуту была уже в седле, и сам собой из ватаг отдельных соткался строй по образу тупого клина с летучими крылами. Не войско варвары напоминали, не ополчение людей – несметную птичью стаю зимующих близ Пеллы скворцов, когда эти мелкие птахи, повинаясь неведомым чутью, неуловимым знакам, вдруг в единый миг, одновременно, взлетали тучей или совершали крутой вираж в полёте.

Тем часом гетайры лавиной перевалили холм и только тут, узрев внезапно строй супостата, резко осадил коней и смешались. А тяжёлые пешие фаланги ещё только выкатывались из балки разрозненными толпами, открытые и уязвимые. Кто отставал, неся тяжёлые сариссы, кто же, напротив, спешил вперёд. А варвары уже изготовились нанести удар и, луки натянув, ждали чего-то! И всё без клича боевого, коим страдал философ, без гласа трубного и прочих предвосхищений.

Ещё одно мгновение, и заиграли бы струны тысяч тетив, запели стрелы, и каждой бы досталась цель. И музыка сия достигла бы сердца многих, кто спешил на битву, словно на праздник Бахуса. Македонцев всегда берёт и вдохновляет строгий боевой порядок, а скуфь не стала бы ждать и не позволила выстроить фаланги, поднять щиты. И конницы бы оказались не разящими клиньями – легкой добычей, кипящими котлами, бурлящими и уязвимыми лавинами: это на скаку лошадь, как и воин, не чувствует стрел, но осаждённая удилами сыграет от ранения и понесёт, сминая задних.

Зопирион наконец-то изведет опасность, закричал, и ему вторили все воеводы, но миг упущен был, чтобы войско с ходу привести в порядок и с ним предстать перед врагом. Две силы разделяла дистанция в бросок копья, и Александр тотчас по-юношески страстно и одержимо пожелал, чтобы выпал жребий поединка. Уж лучше смерть принять, чем зреть, как избивают македонцев!

Однако скуфский князь вдруг сдёрнул шапку, ударил ею о землю и тем самым укротил всех лучников одновременно. Сам же неспешной рысью выехал в голову клина, там развернул коня и, встав перед царём, ему монету бросил:

– Коль ты ныне гость, тебе метать!

И, раскинув по траве попону, потребовал, чтобы меч ему подали.

Александр поймал жребий и осмотрел: на одной стороне золотился вздыбленный конь, на другой – скуфская колесница с дышлом. И показалось, монета засветилась, испустив яркий луч, и на краткий миг в глазах заалело, а в темени под шлемом зардел горящий уголь. Он вроде бы сморгнул пятно и головой встряхнул, но внезапно почувствовал жар, ломоту в костях, и перед взором всплыл черный кружок величиной с монету – первый толчок аспидной чумы!

Варвар что-то заметил и, принимая меч из рук слуги, поторопил с усмешкой:

– След поспешать, царь. А ну, испытай судьбу!

Не подавая виду, Александр взвесил жребий и метнул его. Монета взмыла вверх, поблескивая на солнце, и, выписав дугу, упала на попону.

А след от неё перед взором остался чёрный...

Царь чуть склонился в седле, глянул вниз, и показалось, выпал конь, то есть сойтись на поле должно ратям, однако же архонт лишь чуть скосил глаза и молвил:

– Колесница.

Не по достоинству было македонскому царю, владыке всей Эллады, спешиваться и поднимать монету, а из седла почудилось, золото померкло и аспидная чернь залила чеканку.

– Добро, – повинился он и, вынув меч, помчался к краю поля.

Разъехавшись на стадию перед своими ратями, они обернули лошадей друг к другу и на минуту замерли. Македонцы наконец-то выстроились в боевые порядки на пологом склоне холма, и хотя фаланги ещё выравнивали ряды, однако уже ощерились сариссами, прикрылись

щитами и теперь были неприступны со всех сторон. Две конницы на флангах встали клиньями, а третья, из гетайров, в середине, на стыке двух полков, чтобы в любой миг прийти царю на помощь.

Солнце над их головами было чёрным, и тень аспидная уже покрывала войско...

Скуфь же хоть и стояла могучим и единым конным клином, однако вольно, с поднятыми копьями и луками в колчанах. Иные ватаги их полков и вовсе от скуки затевали игры, понуждая лошадей своих бодаться головами – кто кого столкнёт, или перетягивали дротики, норвя соседа из седла исторгнуть. И хохотали громко, коль всадник падал наземь.

А их князь, позрев на своё войско и на супротивника, вдруг меч повертел в деснице и с силой вонзил его в землю, конь порскнул в сторону.

– Довольно и бича!

Выхватив его из-за опояски, раскинул по земле и громко щёлкнул. И тем самым будто подстегнул Буцефала. Могучий жеребец присел и, ровно тигр разъярённый, с места понёс намётом. Царь вскинул меч, и рука в тот час намертво срослась с рукоятью, став продолжением клинка, а сам он сросся с лошадьёю, как срастаются два дерева из единого корня. Живая, горячая плоть коня слилась с плотью всадника, кровь с кровью, нерв с нервом, и теперь вся их мощь, как молния из тучи, воплотилась в лезвии меча.

Уже не солнце сверкало в нём – аспидная чума, и след оставался чёрен...

Проникнув ветшающим умом сквозь время, отбитое копытами, он видел, как под его чёрным мечом, подобно зрелой тыкке, разваливается плоть супостата и из оранжевого чрева брызжет сок и семя зрелое, спадая наземь чёрным дождём.

Он и не мыслил чего-нибудь иного! В тот миг он зрел победу!

Однако свист бича, как свист борея, вмиг охладил уста и голову. Приросший меч вдруг вылетел из десницы, а сам он – из седла. И перед глазами не свет полыхнул – чёрная земля!

– Зопир! Убей его! – воскликнул Александр, но крик, обращённый в землю, в ней и потоп.

И голос сверху был:

– Ужо, царь, упокойся. Тебе срок пришёл. Не я убью – аспидная чума...

Перед ним стоял архонт Ольбии, суть варвар! И, наступив на грудь облезлым сапогом, выдавливал из чрева душу. И та душа ещё противилась, цеплялась за вместилище, ершилась, не желая исторгаться из тела благодатного.

– Зопир! Зопир! – звал ещё он. – Зопир, убей!

Но откликался конь: где-то рядом ржал, встревоженный и чуткий к зову, и не бежал на зов. Только его глаз дрожащий, как огонёк свечи, мерцал перед воспалённым взором.

И снова враг восстал с бичом:

– Никто не придёт на помощь! Кроме меня.

– Тогда ты убей! – царь меч искал в траве. – Пронзи мечом! Я воин, мне недостойно пасть от бича! И от чумы позорно!

Князь поднял его на ноги и, осмотрев, вдруг сдобрился:

– Пожалуй, пощажу тебя.

– Пощадой станет смерть от твоей руки! Иначе аспидная чума расправится... Я обречён жить только до восхода...

– Да, царь, мор скоротечен, – бич сматывая в кольцо, вздохнул архонт. – Коль не вкусить лекарства, восход тебя спалит. Мы вот вкусили и ныне ждём, когда борея очистит город... Но если ты попросишь, царь, я дам тебе бальзам.

Ум угасал, а вкупе с ним – гордыня.

– Так мало прожил, – пожаловался он. – А был рождён для дел великих... И ничего не испытал! Я даже не любил ещё!..

– Что же ты делал, отрок?

– Учился. И постигал науки...

– А помнишь, кто ты есть? Кроме того, что царь Македонии и тиран Эллады?

– Я сын Мирталы...

– И что ещё?

– Сын своего отца...

– Этого мало...

– Старгаст мне говорил, рождён был Гоем! – сквозь мрак прорвалась мысль. – В тот час, когда на небосклоне звёзды сошлись в единый круг. Нет, напротив, выстроились в ряд... Впрочем, я плохо помню его науку. Но жажду жить и испытать себя!

Князь чуб свой намотал на ухо и покрыл бритую голову валяной шапкой. Перед взором осталась лишь подкова серьги, торчащая из уха. Но и она померкла – зрение угасало вкупе с сознанием.

– Добро, лекарство дам, – заключил рус. – Мне ведомо, аспидная чума чернит сознание и гасит ум. Но мужества исполнясь, след затвердить тебе: болезнь вновь явится, как только посягнёшь на свет чужих святынь. Ты не умрёшь при этом – сам обратишься в снадобье, источая целительный бальзам... Ну, всё запомнил?

В тот миг зачумлённый, он не внял, да и не способен внять был его словам, тем паче проникнуть в их смысл. В подобных случаях он обращался к учителю, который разъяснял все хитросплетения мыслей и явлений. Сейчас, сквозь мрак в глазах, сквозь жар, что корёжил тело, он вспомнил Ариса.

– Там, в шатре, философ, – промолвил Александр. – Мой учитель... Я связан с ним, как пуповиной. Дай ему бальзам! А он мне растолкует, как поступать...

– Учителя излечишь сам, – был ответ. – Коль пожелает... Ты прежде взгляни на то лекарство, коим скуфь лечится!

– Но я уже ничего не вижу!

– В сей час прозреешь...

Сказал так и чем-то намазал ему глаза. Царь с трудом разлепил веки – перед ним оказалась лохань, обязанная ссученной вервью. В ней лежал издыхающий чумной, в коростах безобразных, с уст и тела струился гной.

– Да, вид мерзостный, – согласился рус. – Зри, что ждёт тебя, коль покусишься на святыни, – сия лохань. Философ не учил, я преподам урок. Запомни, царь: яд всегда слаще и приглядней. Противоядие срамно и горько...

И щедрой рукой зачерпнув гноя, поднёс к его устам...

– На вот, вкуси бальзам...

### 3. Эпирская жена Миртала

Филипп почти исторг из обычаев придворных грубые варварские нравы и пристрастия, изжил множество привычек и обрядов, доставшихся в наследство от прежних царей Македонии. В первую очередь избавил Пеллу от последних тайных храмов, где служили и воздавали жертвы старым богам, на их месте воздвигнув греческие, а тех, кто не отрёкся и на своём стоял, облагал налогом, особо ярых поборников древней веры лишал имущества и, невзирая на вельможность, заслуги прежние в ратных или иных трудах, изгонял прочь. В первые три года царствования, издавая строгие указы и декреты, он запретил ношение портков, рубах, валяных шапок, кожаных сапог и прочего македонского платья, велел переодеться в хитоны, гиматии и сандалии. И только рабам позволил донашивать старые наряды, чтобы сразу было видно невольников и господ. Филипп потратил пять шестых казны, чтобы купить в Спарте одежду, снаряжение, доспехи для войска! А всем портным, кожевникам и бронникам впредь велел кроить, шить и точать всё это по спартанскому подобию. Хотя по образу спартанцев содержать полки он не отважился, опасаясь ропота и бунтов: с голыми коленями, без портков и в сандалиях ратники зябли и страдали в заснеженных горах Иллирии и Фракии. Однако скоро привыкали, ибо по своей варварской природе отличались выносливостью и терпением. В ответ на это царь щадил своё воинство, не замышлял зимой походов или летом, высоко в горах, и послаблял, давая право в лютую стужу спать с конями и от них греться.

Труднее всего оказалось исторгнуть варварскую речь из уст македонцев, заставив говорить на греческом. А более того – изменить строй и образ мыслей, извести дух прошлого, понудить думать и наслаждаться всем тем, что ценно и неоспоримо во всех полисах Эллады. Многие цари, всяк в своё время, пытались вразумить подданных, насытить их желанием последовать примеру эллинов и отказаться от ветхих правил. Взойдя на престол, Филипп не первым был, кто мыслил перевоплотить их нрав, ибо ещё при царствовании брата своего Пердикки содержался в Фивах заложником его и там испытал весь благородный смысл Греции и всецело им проникся. Да и брат в том преуспел, призвав к себе философов, поэтов и геометров, полагая, что македонцы, позрев высокое искусство, сами потянутся ко благам просвещения и припадут к сему источнику. Однако же просчитался: даже придворные, на службе изображая преданность богам Эллады и щеголяя в гиматиях, в домах своих тайно поклонялись Разу и обряжались в порты из рыбьих шкур, кляня при сём эллинские обычаи. След было бы брату выжигать железом подобное зло лицемерия, однако же Пердикка его сносил и вскорости убит был иллирийцами, которые потешались над македонцами за их пристрастие к иноземным нравам.

Филипп, низвергнув своего племянника Аминту, при котором был опекуном, сам сел на трон и три первых года, уподобясь искусному каменотесу, безжалостно отсекал от Македонии всё лишнее и непотребное, ваяя эллинский прообраз. Первым делом он отомстил за брата, покорив Иллирию, продал в рабство значительный полон из её знати, а царевну Аудату взял наложницей. И поначалу содержал её вместе с иными рабынями, чтобы унижить, и не мыслил приближать к себе, тем более на ней жениться.

В то время он думал и страдал лишь о единой деве, по его варварскому разумению достойной стать ему женой, разделить ложе и престол. У царя Эпира была племянница именем Миртала, которую он встретил ещё в юности, когда их вместе привели в храм для мистерий. Девица тем покорила сердце, что безбоязненно играла со змеями, которых будущий царь боялся до смертной дрожи и цепенел, коль гад ползучий касался тела. А она их укрощала и забавлялась, словно с безделицами детскими! Вместо ожерелья на её груди лежала черная гадюка, две малые змейки обвивали запястья, живой и золотистый главоотяжец поддерживал пышные, буйные космы. Миртала снимала ядовитые прикрасы и отпускала в траву или камни, в стихию свычную, и они сами возвращались и вползали на своё место. Филипп был зачарован

её видом точно так, как зачаровывался солнцем на восходе или луной, плывущей ночью над горами; он слышал необъяснимый зов и отвечал ему, только не словом – чувством, и ещё с юности уверился, что говорит с богами.

Возмужав, он послал сватов к отцу Мирталы, царю Эпира Неоптолему, но этот гордый самодержец, ведущий род свой от Ахилла, отверг его и посмеялся: дескать, не по чести тебе невеста, да ты и змей боишься. В то время Македония ослабла и трещала по швам, терзаемая иллирийцами, и никто не считался с ней. Филипп не затаил обиды, но себе поклялся возвысить свою державу так, чтобы сей потомок Ахилла преклонился, сам привёл повелительницу змей и упротил взять в жёны.

Забавляясь с полонянкой Аудатой, он и на миг не забывал Мирталу и, чтобы воспроизвести её гаснущий в памяти образ, велел рабыне носить украшения из змеиных шкур. Однако обольстительная иллирийка, имея дух варварский, не только была искусна и неуёмна в утешении плоти; в те краткие минуты, на ложе пребывая, она, как яства в суровый голод, как исток студёный в зной, в суть его проникала по малой капле и оставалась там, вызывая неутолённую алчность. Совокупившись, царь гнал её и тут же возвращал, испытывая позорную для эллина и непотребную стихию диких чувств. Вместо неги, тонких и благородных наслаждений от удовольствий чувственных он жаждал их безмерной бури, смерча, который способен был таранить крепостные стены и башни поднимать. Аудата же всё зрела и коварно раздувала пламя, вливалась в его душу и чуть было не заполнила её своей варварской страстью, когда понесла и посулила родить сына.

Осознавая порок сей мерзкий и недостойный, Филипп взял приближённой наложницей дочь македонского вельможи Филу, воспитанную в греческих нравах, чтобы ею уравновесить буйство и обрести усладу не от страсти, но от изящества. Придворные поэты и философы внушали, что истинный эллин, приобщённый через мистерии к прекрасному, ценить должен не вкус еды, а предвкушение и насыщаться созерцанием. И верно, на какое-то время Фила затмила Аудату тонкостью манер и чувств, взор и слух увлекла игрой на лире и декламацией, сама же, будучи на ложе, сначала трепетала, подобно нежным птичьим крыльям. И чтобы закрепить успех, из очередного похода Филипп привёл Никесиполиду из Фессалии, с родины самого эллина, родовитую эолку, хранительницу исконных греческих обрядов – так ему чудилось. Объединившись с Филой, обе наложницы теперь укрощали царский нрав, облекая его в шёлк искусств высоких, и ложе для плотских утех превратилось в таинство мистерий, в сонм переживаний тонких.

Он уже мыслил жениться на одной из них и избранницу объявить царицей, но, покуда выбирал, Аудата разрешилась от бремени, родивши дочь Кинану. Царь явился взглянуть на дитя, однако же позрел на иллирийку, оправившуюся от родов, украшенную блеском змеиных шкур, и всё, с чем он боролся много месяцев, вдруг испарилось прочь. Забывшись, он овладел наложницей прямо в саду, под маслиничным деревом, и рыком своим зверским всполошил весь двор. Не только набежала агема с дворней подивиться, явились Фила с эолкой и позрели на срам сей варварский. Филипп же никак не мог остановиться и рёвом своим оглашал пространство много часов, после чего припал к груди, прыщущей молоком, опустошил её и, пресыщённый, пал в саду да погрузился в сон.

Испытывая похмелье лютое, как после вакханалий, он себе поклялся не приближаться более к скверной сей наложнице Аудате, запретил носить прикрасы из змеиных шкур, чтобы не возбуждала память о Миртале, и, пожалуй бы, вовсе прогнал, но пощадил дитя и мать кормящую. А чтобы излечиться от хворной страсти, позвал на ложе кроткую Филу, изготавившись насладиться предвкушением. Но что же стало с ней? Куда подевались утончённость, игра ума и пальцев? Украсившись змеиными выползками и сгорая от истомы, она терзала плоть царя, урчала и кусалась, требуя немедля сотворить с ней то же, что с Аудатой в саду. А как блистала взором и выпускала когти! И когда Филипп её отверг, принялась крушить всё, цепляться и

царапаться – пух полетел из перин, разодрала хитон и напоследок укусила, ровно змея, вонзивши зубы в грудь. Телохранители агемы едва оторвали от царя и унесли из опочивальни вон.

Чуть гнев унявши, царь кликнул смиренную эолку и ей пожаловался на своих наложниц, мысля найти утешение. Никесиполида, как истинная фессалонка, воспитанная в храме Афродиты, не выдавала тайных чувств и завела игру забавную: тончайшей нитью шёлковой сначала щекотала, вызывая знобящий зуд. И когда Филипп предался ласкам и расслабил члены, не касаясь плоти, стала опутывать его, как шелковичный червь опутывается в кокон. Томление и нега, словно неспешная волна морская, окатывали с головы до ног, повергая в дрёму, уставшее в походах тело утрачивало тяжесть. Дочь Эола, постигшая тайны ремесла под покровом богини, извела многие сотни мужей, прежде чем научилась ублажать и юношей пылких, и неспособных старцев, и прочих приверед, что приходили к храму и платили жрицам любви. А они уже этими деньгами воздавали Афродите, и та, что жертвовала изряднее, считалась лучшей невестой и быстрее выдавалась замуж. В сладкой дрёме и ласках искусной фессалонки он подумал, что, пожалуй, возьмёт её в жёны. И с этой мыслью бы уснул, чтобы восстать крылатым, однако же очнулся, услышав приглушённый рык.

Сквозь шёлковые нити, как сквозь туман, узрел не дочь Эола, не жрицу любви из храма Афродиты – фурию, рождённую Тартаром. Сквозь смоль долгих волос, облекших телеса, сверкал оскал зубовный да чернь горящих глаз. Царь пытался отринуть наложницу, сбросить с себя, как конь наездницу лихую, однако пелена не позволяла и пальцем шевельнуть. Рта было не раскрыть, чтобы призвать на помощь Павсания, что светочем покои озарял, – нити уста сковали. А Никесиполида только в раж вошла! Рыча и щерясь дурно, она скакала, словно львица, и загнала бы, но телохранитель, услышав хрип царя, встревожился, приблизил светоч. Фессалонка его вырвала, а самого Павсания прочь отшвырнула. И завязалась свара, факел упал на ложе, возник пожар, но и огонь уже не мог усмирить пробуждённую страсть варварских предков эолийки, суть пеласгов. Сия Мегера продолжала терзать царя, замотанного в кокон. И лишь агема, ворвавшись в опочивальню, спасла от гибели.

После таких любовных игр Филипп отринул всех наложниц и несколько ночей блюл порядок строгий и аскетичный, ругая пошлость жён и оставаясь в своих покоях с верным Павсанием. И тот, юный ещё и женоподобный телом, прельстил царя. Постигая науку тонких, изощрённых чувств в Фивах, заложник вкусил из этой чаши, как вкушают мерзость. Но сам ещё юный и увлечённый приятием благородных нравов Эллады, подавил глухой протест, тошнотный приступ и отвращение, как подавлял в себе начало варварское: согласно ветхим словенским уложениям, за грех подобный в Македонии сажали на кол или конями рвали.

В забавах ложных с Павсанием, хуля породу жён-наложниц и в тот же час испытывая неприятие прелюбодейства, Филипп впервые испытал бессилие перед роком. Ему почудилось, его на кол воздели, а ноги уже распнули, привязав постромками к двум лошадям.

Сколько бы он ни сотворял указов, насаждая культ эллинский, и не обязывал под страхом наказаний не носить портков, как бы ни тщился заставить думать македонян по-гречески и принимать их образ мирозерцания – всё напрасно. Монолитный камень, из которого он ваял новый образ державы, внутри оказался твёрже тесла, прочнее закалённого в горне железа. И молот, раздробив его, расплющил собственную руку: царь даже сам не в силах был с собою сладить, и, как бы ни вытравливал суть варварства тёмных и скверных обычаев, они, как рубцы от прошлых ран, на теле оставались и исподволь палили разум. Он никогда не сможет отринуть то, что было суще в нём вкупе с кровью и продиктовано не нравом, не увлечением сиюминутным и даже не желанием возвыситься и славу обрести – самой природой. Он был способен любить жён и только с ними обретать ту стихию чувств, которая спонтанно, в неуправляемом безумстве естества выплескивала торжественный клич высшей радости! Хотя вопль сей напоминал звериный рык. Всё иное он презирал с глубоким отвращением, как презирает раб господина, трепеща при этом.

Сей трепет ему тоже мерзок был.

Именно в тот миг раз и навсегда царь Македонии совокупил две стихии – любовь и ненависть к Элладе. Подобную же противоречивую страсть он испытывал и к наложницам, в коих ненароком пробудил их естество, и потому винил не воспитание, не нравы и капризы – себя, свою природу. И потому не изгнал этих жён, а при дворе оставил и, исполчившись, пошёл вновь усмирять Фессалию.

Недавно ещё манящая к себе Эллада, по воле которой много лет он изживал пороки Македонии, суть варварство, чтобы прослыть истинным эллином, по воле которой он возлагал на алтари её богов жертвы великие и был готов исторгнуть кровь порочную из тела, – сейчас напомнила царю изящных с виду и по природе совершенных, однако ядовитых змей. Ползучих и прекрасных гадов, собравшихся в клубок, колючий от жал и языков раздвоенных. Расцепиться и расползтись всяк по себе сей серпентарий уже был не способен, и каждая змея вопила, призывая царя Македонии на помощь. И если прежде он ходил сюда с единственной надеждой на признание и безоглядно в жертву приносил кровь своих подданных, ныне пошёл, чтобы утвердить себя и выразить те чувства, что вызрели и выметали два семени – любовь и ненависть.

Он усмирил отчину первого греческого царя Эллина, а всю элиту, гордых и своенравных эолийцев, взяв в полон, сам, гонимый чувством тайной мести за своё разочарование, гнал беспощадно пешими через хребты и заснеженные горы. И снизошёл к единственной высокородной рабыне: царевну Филинну посадил на осла задом наперёд, чтобы могла созерцать своих родственников, бредущих по ледяным горным пустыням. И испытывал наслаждение при этом. На ночь несчастную девушку приводили к нему в шатёр, где она тотчас засыпала, измученная переходом. А царь Македонии, вступая с ней в соитие, бесчувственной и беззащитной, твердил Павсанию, держащему над ними светоч:

– Так будет со всей Элладой!

Его всё ещё оскорбляло отношение эллинов, не признававших благородного происхождения македонцев и в очередной раз на судейской коллегии отказавших в участии на Олимпийских играх! Филипп пришёл в ярость и силою своих тяжелых фаланг и конниц стремился доказать, что он не варвар и достоин быть членом Дельфийской амфикионии. Только этот союз уравнивал бы в правах царя с иными правителями Эллады.

И вот однажды, когда его могучая армада встала на отдых, среди ночи к царю явилось посольство – муж преклонных лет в окружении немногочисленной свиты и охраны, на гимназиях которых был невиданный доселе орнамент из сдвоенных чёрных крестов. У самого же посла сей знак красовался на спине и груди, и тут царь вспомнил, что нечто подобное изображено на одеждах коллегии эфоров.

– Я надзираю за тайнами Эллады, – подтвердил посол. – Моё имя Таисий Килиос. Слух был, тебя опять не допустили к Олимпийским играм. Так вот, на следующие допустят непременно и сочтут за честь, чтобы царь Македонии участвовал. К примеру, в заездах колесниц.

Столь высочайшим вниманием эфора Филипп был польщён и обескуражен.

– Чем отплатить мне, надзиратель, за твою благо-склонность? – спросил он. – Не воевать греческих полисов? Вернуться в Македонию?

– Отчего же? Напротив, – вдруг проговорил посол. – Тебе следует встряхнуть Элладу, как встряхивают мешок с зерном, дабы уплотнить его. Делай с нею всё, что захочешь. Тем и отблагодаришь меня.

Царь ещё более изумился:

– Ужели я слышу это из твоих уст, эфор?

– Мне известно, что ты ищешь, разоряя города Эллады, – заявил тот. – Сей час можешь пойти и отнять два голоса в Дельфийском союзе, которые ныне принадлежат Фокиде.

Македонский Лев с некоторых пор не вмешивался в священную войну, уже десяток лет бывшую между союзом городов и Фокидой, захватившей Дельфийский храм вкупе с его сокровищами. Однажды, ведомый искренней страстью освободить главную святыню Эллады, он ввязался в их долгий спор и потерпел поражение от фокийского стратега Ономарха, ибо пришёл с малым войском в надежде, что амфикионы его поддержат. Но они предали добровольного союзника тем, что оставили Филиппа один на один со всей Фокидой, поэтому царь теперь не желал участвовать в длительной расправе между полисами за право быть хранителем главной святыни Эллады. Правда, имея мстительный нрав и не желая прощать обиды, он через год отомстил Ономарху, разгромив его на Крокусовом поле, а пленённого стратега велел повесить на дереве за шею.

Но и тогда члены амфикионии его заслуг не оценили и всё одно не подпустили Филиппа к своему священному союзу, назвав его в очередной раз варваром. Тогда Македонский Лев сделал вид, что обиделся, и не захотел кому-либо помогать, хотя имел предложения от самой Фокиды.

Он выжидал, когда противники измучают друг друга и, ослабнув, Дельфийская амфикиония сама его призовет, дабы изгнать фокийцев.

И вот час настал...

Но тайные замыслы Филиппа теперь оканчивались не только получением прав союза двенадцати важнейших городов Эллады; он задумал большее – освободив Дельфийский храм, занять место главного хранителя святыни, но уже на законных основаниях, таким образом навсегда оставшись в Фокиде. И уже отсюда покорить Афины, что было его тайной мыслью.

– Добро, я прогоню фокийцев из храма Аполлона, – ответил Македонский Лев. – Покорю Фокиду и возьму себе принадлежащие ей два голоса.

Эфор воззрился на царя так, что Филиппу показалось: в пристальном взоре его сквозит ответ – он будто догадывался об истинной причине! Когда Македонский Лев оказывался в подобном положении, его выручали природная сметливость и осторожность, заставляющие, вопреки яростному нраву, быть податливым. Но только до той поры, пока он не постигал причин того или иного действия противника, которые его на время повергали в недоумение.

На короткий миг Македонский Лев почуял на своём затылке дыхание рока, но скрипучий голос эфора вернул на землю.

– Ступай и изгони фокийцев, – велел надзирающий за тайнами. – И делай с ними всё, что захочешь. Вернёшь Дельфийский храм амфикионии, оставайся в Дельфах и храни святыню.

Посол удалился точно так же, как пришёл, – растаял во тьме, и лишь боевые псы, собранные в своры, залаяли ему, невидимому, вслед.

Македонский Лев на сей раз не искал причин и не размышлял над тем, что услышал; он поступил в точности так, как посоветовал тайный покровитель, и уже наутро развернул полки в боевые порядки, выстроив железные фаланги, расставил конницы и, приступив к окраинным городам Фокиды, встал ровно каменный. И так стоял несколько часов кряду, храня полное злое молчание. Вся срединная Эллада замерла в предчувствии грозы и, не сдержавши долгой паузы, дрогнула, объялась паникой и побежала на Парнас в надежде укрыться в лесистых горах. А накануне этого назначенный стратегом всей Фокиды Фалек не пожелал сражаться с варваром и не захотел быть повешенным на суку, как его предшественник; он внезапно заключил мир с Филиппом и, по-дружески распроставшись с ним, увёл свои полки в Пелопоннес, оставив города неприкрытыми.

Так Македонский Лев одержал первую победу, даже не вступив в сражение и потеряв всего двух воинов: одного гоплита переехал колесом стенобитной машины, другой, молодой гетайр, пал с лошади и закололся на своей же стреле.

Потрясённая Эллада ужаснулась: варвар овладел дельфийской священной землёй и Дельфами! Оракул замолчал, набравши в рот воды, пифия же, прельстившись победителем, перестала вещать и теперь вкупе с варваром омывалась в священных водах бассейна!

Филипп творил с Фокидой всё, что хотел: разрушил, сровнял с землёй двадцать два города, а жителей частью распял на крестах, частью пленил и переселил на пустынные, неказистые земли вдоль рубежей Македонии, прежде отняв лошадей, оружие и деньги, похищенные из сокровищницы храма. Дымы пожарищ, вой и плач были слышны в Афинах и Фивах, а по дорогам бесконечными вереницами с малым скарбом в узлах шли фокийские переселенцы. В покорённых Дельфах, в священной земле, возле Парнаса, где Аполлон когда-то резвился с музами, уподобившись ему, варвар возлежал на ложе без одежд и развлекался с пифией и девами, которые поддерживали неугасимый огонь в храме. А жеребец его пил воду из священного ключа, щипал траву и тут же гадил, усыпая конскими яблоками священную лужайку. И дабы не прерывать блаженного отдыха и не отвлекаться на суды и казни, Македонский Лев тут же судил и казнил архонтов городов и прочих вельможей, иногда сам отрубая головы одним ударом боевого топора.

А возле самого храма, в здании, где обыкновенно жили паломники, съезжаясь со всей Эллады, развернулся невольничий рынок: фокийцев продавали десятками, большей частью афинским и фивским купцам, которые слетелись, словно вороны, чуя поживу.

Дельфийский оракул сидел на ступенях храма и молчал, со скукой взирая на произвол варваров. И Аполлон никак не проявлял свой гнев, верно отправившись на родину свою, в Гиперборею, куда летал на отдых после славных дел в Элладе. Или спал беспробудным сном, как иногда спят боги.

Глядя на неслыханный погром и святотатство, внимая стонам и проклятиям, эллины гадали: как же такое могло случиться? Освобождали рабов, полагая, что те возьмут оружие и встанут на защиту бывших господ, но сами безропотно ждали, когда Македонский Лев насытится добычей и сделает следующий прыжок, теперь уже в приморские земли. Могучая, просвещённая и оттого кичливая Эллада считала последние дни вольной и богатой жизни, пользуясь всеми благами роскоши, которой уже было не вкусить в плену у Македонии. Даже в строгие дни воздержания эллины пили неразбавленное вино и устраивала пьяные оргии. Отпущенные рабы, бросившие своё ремесло, мастеровой люд и просто обыватели стали промышлять мародёрством и грабежом; среди бела дня разбойничьи шайки нападали на богатые виллы и бедные хижины, таскали всё, что подворачивалось под руку, насиловали женщин и мальчиков, убивали стариков, пытавшихся вразумить лиходеёв, опустошали храмы, куда так долго приносили жертвы.

Ещё недавно послушные законам, мыслящие добродетельно и жаждущие научить всему этому остальной мир эллины сами восстали против того, чему поклонялись.

Македонский Лев смотрел на это с горькой усмешкой, разочарованием и ненавистью: то, к чему он стремился, рушилось на его глазах, и он более всего на свете не хотел сейчас быть эллином. Суровая и простая жизнь варвара казалась ему чище, их природные законы справедливей, а боги – могущественнее и ближе к людям, ибо взирали на них, как на неразумных внуков своих. Он стал полноправным членом Дельфийского союза, когда уже не хотел этого, и потому был удручен: то, что им двигало все годы царствования, та звезда на небосклоне, что манила, вдруг утратила свою яркость, истончилась и померкла. Филипп мог бы пойти и далее, к Афинам, покончив за один поход со всей Элладой, но из-за своего варварского нрава не пошёл, потому что хотел побеждать в битвах!

В ту же пору сражаться было не с кем, и следовало выждать срок, покуда эллины не образумятся, не избавятся от страха и, вспомнив былую славу, соберутся с силами, чтобы встать супротив Македонского Льва.

По своему обычаю, он не добивал поверженного противника; он жаждал сразиться с таким же львом, а не с беззащитным и трусливым зайцем. И потому, вдоволь насладившись плодами победы, оставил своих наместников, а сам ушёл в Македонию.

А в Пелле, в час восхода солнца, он застал посольство из Эпира. Позрев на царя Аррибу, родного брата покойного Неоптолема, Филипп вдруг понял: заветный час настал и гордые потомки Ахилла сами привели ему желанную и ненавистную повелительницу змей Мирталу.

Взирая на восход, он на миг зачаровался и вновь услышал необъяснимый зов.

И ещё одна неистребимая и варварская страсть довлела в непокорном женолюбивом сердце – приверженность к охоте, которой царь одержим был и променять которую не мог ни на какие ценности Эллады. Едва слуха касался трубный глас оленя, или медвежий рык, или даже шелест крыл фазана, взлетающего из кустов, Филипп преображался, испытывая трепет, сходный с тем, что возникал лишь от гласа богов. Но зов сей был понятен: в ветхие времена все его предки не аралы пашню и жили не с сохи, а с лова промышляли и потому носили прозвище – словене, тогда как пахарей Македонии и прочих стран звали арии. Но для далёких эллинов, кроящих на свой лад любое имя, все они были скуфь, ибо носили шапки, имели речь единую и сонмище богов.

Лов въелся в кровь, как и любовь к жёнам, ибо две эти стихии делали род людской неистребимым.

Видя восход македонцев и твёрдую поступь фаланг, Арридей не только отдал в жёны Мирталу, но и во всём стал подражать Филиппу, принялся по образу его перевоплощать Эпир и начал со двора. В первую очередь он велел известить всех змей, коих племянница развела довольно, и гады сии ползали даже в поварне и под тронном. И хоть не жалили, ручные, и не мешали править, однако же роптали и пугались их эллинские философы и поэты, приглашённые для просвещения придворных. Сей варварский обычай – держать во дворце ползучих гадов – претил эллинским нравам и чувства возмущал, а посему холопы, вооружившись розгами, тайно от Мирталы истребляли их или исторгали за пределы двора, покуда она не узнала об этом. Разгневанная, царевна явилась к дяде и пригрозила заселить дворец не только змеями, но и привести сюда всех чародеек, ведьм и колдунов, с которыми водила дружбу и от которых набиралась таинств волшебства. Ссориться с племянницей царь не хотел, поскольку опасался проказ и порчи, к тому же у неё был брат Александр, способный через год или два, как повзрослеет, отнять престол по праву наследства, и посему присмирел. Но, желая угодить Миртале, а заодно избавиться и от неё вкуче со змеями, признался, что царь Филипп однажды присылал сватов, но получил отказ от Неоптолема. Де-мол, сегодня я готов отдать тебя за македонца, если того захочешь. А сам мысль затаил: без своенравной сестрицы ее брат опору потеряет и отречётся от престола.

Племянница позрела на царя, щупая его взором, словно змея раздвоенным языком, и внезапно согласилась. Неведомым образом созвала оставшихся гадов и с ними, как с приданным, последовала к жениху.

Филипп принял её вкуче с челядью и ползучими тварями, но сдержанно, показывая тем самым своё превосходство, и, по обычаю же словенскому, поселил во дворце на женской половине, но отдельно от наложниц. После пира свадебного он не позвал в опочивальню, как звал любовниц, а сам пришёл в покои молодой жены, как следовало по обряду, и застал её на ложе обнажённой, ухоженной, натёртой благовониями и, по обычаю эфирскому, с тремя служанками. Две из них держали светочи, а третья, весьма сведомая в делах любовных, именовалась наставницей, которая прислуживала новобрачным и учила невесту всем премудростям сокоупления, суть веществу жены. Невзирая на нравы новые, принятые Аррибой, и воздвигнутый храм Афродиты, где юные девицы служили жрицами, эпириотки по-прежнему оставались верными законам целомудрия и до замужества мужчин не ведали.

На свадьбе царь довольно испил вина и потому сонливым был, однако при виде возлежащей на перинах прекрасной и манящей Мирталы вдохновился и, не снимая сандалий и хитона, пал на ложе. Строгая наставница молча его раздела, взяла сосуд с душистым маслом и принялась его втирать, при сём лаская плоть. Он уже было воспрял и обернулся к молодой жене, предвкушая час сладострастия, и тут узрел: из-под подушки выполз гад и, голову приподняв, на царя воззрися. Да ещё пасть разинул, стреляя языком и щеря ядовитый зуб! Филипп охолодел и вмиг забыл, зачем явился. Он вскочил, попятился и увидел ещё одну гадюку, скользкую по обнажённым персям! Миртала улыбалась, поглаживая своё искристое, тугое тело, сама же извивалась, ровно змея.

– Чего же испугался, муж? – спросила с зовущим выдохом. – Или смутился моих служанок?.. Ну что ты встал? Иди, возьми меня..

Наставница же осмотрела царя придирчиво и убрала сосуд.

– Ох, царица, не брать ему... Разве что к утру, коли испуг пройдёт. В ознобе он, ровно мертвец. Эвон руки стынут...

– К утру уж поздно будет, – промолвила Миртала. – Звезда, под коей след зачать, погаснет. А потом взойдёт не скоро...

– Исторгни из опочивальни этих мерзких гадов! – возмутился царь.

– Это не гады, – Миртала приласкалась к телу змеи. – Духи земли и женского начала. Земное воплощение одной из трёх сутей бога Раза. Они хранят меня. Но, если тебе, царь, не по нраву мои прикрасы,ними их с меня! Я позволяю...

Преодолевая мерзость, царь схватил гадюк, выбросил за дверь и, озрев опочивальню, снова возлёг на ложе. Наставница взялась умасливать его и натирать, причём весьма искусно; не ласкала, а будто вразумляла и оживляла плоть, как чародейка, шепча заклинания. Потом и вовсе обнажилась, грела царя своим прекрасным телом, устами прикасалась и персями упругими – мертвец бы уже восстал. Но, сколько бы ни трудилась, ни прилагала сил, не истребила немощь. Филипп в тот час был не способен внимать её искусству, всё время озирался и слушал не зов желаний страстных, а шорохи змеиных шкур.

Он никогда не отступал перед взбешённым диким зверем, не бегал с поля брани, тем паче с ложа любовниц, но с ложа жены бежал. И, оказавшись в своей опочивальне, до самого рассвета приходил в себя: повсюду гады мерещились, хотя Павсаний светил во все углы и ложе разобрал, разворошив перины. Остаток ночи он проспал под наблюдением телохранителя и утром вновь явился к молодой жене.

Она же нарядилась в эпириотское кожаное платье и, забавляясь со своими змеями, теперь сама охолодела, при сём оставаясь полной изящества, и скрытой, томной страстью к себе манила. Царь бы переступил через себя и гадов мерзких презрел, на крайний случай велел бы их исторгнуть вон из дворца, но эта чародейка умела и слова свои обращать в холодных змей.

– Брачная ночь миновала, царь. Ты не возжелал меня. И мною пренебрёг. Тем самым оскорбил суть мою женскую! Теперь или год тебе ждать, когда взойдёт звезда, или заслужить прощение.

Он тогда не изведал всех хитростей эпириотки, не узрел коварства, ибо в тот миг страстно желал её.

– Скажи, что сделать? Я исполню!

– Так подивить меня, чтобы стала благосклонной.

Миртала в тот миг напоминала Элладу: так же была заманчива, недостижима и в тот же час ненавистна.

Чтобы разогнать кровь, снять груз противоречий, Филипп поехал на охоту и до заката скакал верхом, затравливая псами зайцев, огненных лисиц и прочих мелких тварей. А вечером с добычей явился к молодой жене и, по словенскому обычаю, бросил к ногам.

Миртала даже не взглянула:

– В Эпире сию добычу отдают холопам. Вот если бы ты, Гераклу уподобившись, льва одолел и шкуру мне принёс!.. Я слыхала, где-то в горах Эпира есть лев, коему триста лет, и весьма злобный...

Теперь она была в изящном наряде персиянки, и манящий открытый живот её зазывно подрагивал, гадюка свисала с шеи и лоно стерегла.

– Сбрось с себя этих тварей! – вновь возмутился царь. – И более не смей носить их на себе и класть на ложе!

Миртала вскинула прекрасные, зовущие очи, но проговорила надменно:

– Имея злость в сердце, и вовсе не являйся мне на глаза. Даже со львиной шкурой!

Много дней с тех пор Филипп терзался неприязнью к молодой жене и думал вовсе с позором отправить назад, в Эпир, сославшись на строптивый нрав, но удержался, опасаясь худой славы. Скажут: не смог покорить жену, а мыслит покорить Элладу! Верно, наложницы через слуг своих прослышали о неудачных походах в покои молодой жены, объединились и, дерзкие, стали потешаться: мол, нас четверых, готовых ублажать, ласкать и любить, променял на горгону Медузу. Вот и ступай, бери в осаду эту крепость, борись со змеями и наслаждайся их ядом и шипением.

Он знал, чем себя утешить и подивить Мирталу. Он мечтал об Олимпийских играх, победа в которых принесла бы славу и признание Эллады. Однако греки всё ещё считали македонцев, да и самого царя, варварами, коим запрещалось участвовать в соревнованиях. А участие в этих Играх доказало бы его благородное, эллинское происхождение, которое бы пало и на всех его наследников. И вздумал царь во что бы то ни стало покорить Олимпию. В сей час его не удержала даже тревожная молва, что иллирийцы вновь восстали и Фракия готова отнять у него спорный полис. Он снарядил корабль в Олимпию, а в Иллирию отослал гонца с посланием, что на время Игр он по законам Эллады объявляет эхохерию – мир на период Олимпиады. А также сообщил, что участвовать будет в заезде колесниц и что после победы в соревнованиях готов с ними сразиться.

Варвары, получивши его, по слухам, оценили храбрость македонского царя, но долго смеялись: их развеселило эллинское слово «эхохерия», означающее на их наречии великий уд. В ответ потехи ради иллирийцы послали ему не письмо, поскольку не владели эллинской грамотой, а свою колесницу, изобразив на ней тот самый уд, как согласие на замирение. Филипп дар принял, ибо с давних времен знал легкость и ходкость их колесниц, а знак начертанный растолковал по-своему, как его мужское превосходство над женственными эллинами.

Между тем приближался срок Олимпийских игр, и, помня волю покровительствующего эфора Таисия Килиоса, Македонский Лев вздумал состязаться на колеснице. С юных лет он был первым, когда царствующий отец устраивал при дворе подобные забавы, и в битвах часто выступал не пешим и не конным; вставши за забрало между двух колёс, вооружившись метательными копьями либо луком и стрелами, выстлав пару лошадей, как стелет птица крыла свои, вздымаясь над землёй, летел перед супостатом и язвил его, сам оставаясь неуязвимым.

В Олимпии же судьи, на сей раз сойдясь в свой тайный круг, решали: кто он – эллин или отверженный? Судя по облику, одеждам, речи и манерам, сходил за первого, но если же взирать на нрав его и взгляд, сомнений нет, суть варвар! Однако же обретший славу судьи, когда приводил свои фаланги, посредством изысканной дипломатии мирил противников. И если такового не достигал, брался за оружие и понуждал к согласию. Все благородные деяния спартамца – отвага, мужество, совокуплённые с терпимостью, – были налицо.

После долгих споров придирчивые судьи провозгласили вердикт: хоть и не изжил варварских наклонностей, да приобрёл суть эллина. А если же к сему добавить то обстоятельство, что македонский царь весьма опасен для Эллады и в любой момент может пойти на приступ приграничных полисов, достоин Олимпийских игр: хищного и коварного зверя должно держать в надёжной клетке, нежели растравливать его на воле.

И, так разрешивши спор, позволили ему выйти на состязания.

В первом заезде, когда со старта помчались вскачь сорок лошадей, неся за собою двадцать колесниц, Филипп на финиш приехал лишь седьмым: для средней тяжести скуфских кобылиц слишком кратка была дистанция, дабы выказать всю резвость и силу, бунтующую в сухой и мокрой жиле. Но во втором заезде, когда расстояние увеличилось втрое, он был вторым и уже чувял победу, ибо лошади разогрелись, впитали в кровь ту силу, что отдавалась из мозга костей. К тому же дарёная колесница, изрядно застоявшаяся, избавилась от скрипа, колёса, смазанные птичьим жиром, раскрутились, приладились к осям и, когда настал миг старта третьего тура, вращались почти неслышно, с лёгким змеиным шипом.

И кобылицы понесли! Круг навивался за кругом, ровно золотые змейки на запястьях Мирталы, и с каждым царь уходил вперёд, однако же трибуны, где восседали эллины, молчали, взирая на великий уд, изображённый на колеснице. А Филипп, забывшись в азарте, гнал лошадей и растревлял себя боевым кличем, от предков унаследованным: «Вар-вар! Вар-вар!».

Трибуны поддались его страсти, искусились звучностью его рычащего гласа и вторили:

– Варвар! Варвар!

Когда же он, пересекая финиш и увлечшись гонкой, забылся и издал победный клич «Ура!» – тот клич, с которым его деда когда-то завершали сечу с эллинами, трибуны дрогнули и уstraшились.

– Ура! Ура! Ура!

Но уже пурпурная лента победы легла на его обнажённый и твёрдый, словно железо, торс, как если бы он был рус из племени скуфи и в битве шёл на смерть.

Заполучив к сему же лавровый венец, он возвращался окрылённый и с именем олимпиионик. Однако же, причалив к родным берегам, Филипп не испытал ни радости от славы, ни торжества. Его встречали с восторгом и ликованием, оказывая честь, которой не было после победоносных воинских походов: лепестками роз путь устилали, вся Пелла клокотала, высыпав на улицы, послы всех подневольных стран, и в их числе тираны Элемотии и Иллирии, склоняли головы...

Мирталы не было среди них!

Не подивил победой, не заслужил прощения. Вот если бы вышла, оставив своих змей, вот если бы поклонилась и прошептала:

– Я по тебе скучала, князь...

У них в Эпире князем именовали того, кто хранил огонь и почитался как живой Зевс...

Олимпиионик был омрачён, но надежды не утратил и сам явился в палаты молодой жены. В окружении служанок Миртала колдовала со змеями, женская часть дворца напоминала серпентарий...

– Как притомилась я от шума, – между делом промолвила она и затворила окно. – Что там в столице, царь? День вакханалий начался? Или ты добыл льва?

– Отныне нарекаю тебя именем Олимпия, – сдержанно заявил он.

– Зови, как пожелаешь, – бездумно отмахнулась. – Сие не в диво... Вот если бы ты бросил к моим ногам поверженного царя зверей...

По ветхим обычаям словен, и в том числе эпириотов, вкупе с иным именем давалась и судьба иная.

Царь удалился в свои покои и там несколько дней пировал, окружив себя наложницами, и утешался с ними, но своенравие жены даже во хмелю и неге не покидало ум. Он зрел в упорстве новонаречённой Олимпии промыслы Парнаса, поскольку знал, что боги часто влагают свою волю в уста детей и жён. Львов в Македонии давно не стало, ибо с давних пор всяк словенин, чтобы утвердить ловчую славу, вступал в поединок с царём зверей. Слух был: во Фракии осталась львица и где-то высоко в горах Эпира, в пещере, жил одиноко старый лев, который раз в год спускался к морю, чтобы найти себе пару, однако не находил и вновь возвращался. Зверь

сей настолько осторожен был да и свиреп, что на него давно не зарились, оставив все надежды сыскать себе славу ловца царей. Победа на Олимпийских играх Филиппа вдохновила, и он с малой ватагой охотников и стражи отправился в Эпир.

Когда Арриба прослышал, что олимпиец идёт в его пределы, будто бы желая позабыться и льва добыть в горах, молве сей не поверил. И заподозрил неладное, поскольку знал уже о всяческих причудах своей племянницы, и потому решил: грозный македонский царь идёт мстить за обиду. А каковым он в гневе пребывает, как беспощадно вершит суды и расправы, много слышал от иллирийцев и потому не стал дожидаться, отрекся от престола в пользу Александра, брата Мирталы, сам же скрылся подальше с глаз. Свояк давно уже искал пути и мыслил свергнуть с престола дядю, но тут же власть сама упала в руки и так внезапно, что он по юности своей не ведал даже, как с ней обойтись. И о чудесных переменах написал сестре, всячески выражая благодарность, ибо невинно полагал, что это промыслы укротительницы змей.

А Филипп в тот час ничего этого не ведал, поскольку высоко в горах, где даже летом стужа, искал жилище льва. Следов его пребывания было довольно и на едва приметных каменистых тропах, и в лесных распадках, где зверь охотился и поедал архаров. Но более встречались обглоданные кости прошлых времён, в том числе и человеческие, и сколько бы ни рыскали сведомые ловцы, свежих не позрели. Верно, от древности своей лев умер, так думал царь и потому испытывал разочарование, мысля, куда бы ещё пойти, в какие земли, чтобы сыскать иного зверя. И тут охотники, что по ночам сидели в скрадах возле пастбищ архаров, донесли весть радостную: лев появился! Во тьме был слышен его рык, а утром был обнаружен свежий след его лапы, такой огромной, что едва можно покрыть скуфейчатой шапкой.

Царь с ловцами сам сел в засаду и бдел несколько ночей подряд, испытывая трепет всякий раз, как только раздавался шорох или иной звук, выказывающий зверя. И вот однажды в предрассветный час, когда уже меркли звёзды, меж дерев убогих появились белёдые очертания льва, более похожие на бесплотный призрак. Но, каковым бы ни был он, Филипп исполнился решимостью добыть его и изготовился встать супротив царя зверей.

И в сей же миг позрел, как этот могучий лев вдруг вздыбился на задних лапах, вскинул голову и гриву необъемную, распрямился да так и пошёл! С трудом сдержавши изумлённый вопль, олимпиец уже вскинул копьё, чтобы поразить его, однако рык звериный поверг в оцепенение. Послышалось, лев проворчал:

– Да где же этот царь? Которую ночь брожу...

Несмотря на молодость, Филипп много чего позрел и слышал – и птиц говорящих, и обезьян, и пляшущих медведей, и даже гадов прирученных, которые не жалили, служа прикрасами; но чтобы лев ходил на задних лапах, да ещё ругался!.. Было чему подивиться! Стряхнув одеревенение со своих членов, царь знак подал охотникам, чтобы зверя взять живьём. Отважные, лихие ловцы, что голыми руками брали леопардов, тут озадачились слегка, ибо и им было чудно зреть на сего льва, но быстро собою овладели и сперва метнули сеть. Лев запоздало прыгнул, но всё же запутался, а ловкачи уже навалились скопом и изрядно потрудились, прежде чем одолели чудище, связав его верёвками. Но, когда попытались вставить в пасть струну, случайно сорвали гриву, под которой обнаружилась голова человекья.

И это голова сказала:

– Ну, будет вам, довольно!

Пока ловили зверя, уже рассвело, и царь рассмотрел добычу, ряженную в шкуру: ростом велик, в плечах широк, брит наголо, и только на лице усы обвислые.

– Кто ты есть? – спросил Филипп. – И зачем в личине сей здесь бродишь, где я за львом охочусь?

– Потому и брожу, чтобы ты меня словил! – насмешливо промолвил ряженный. – А льва этого я давно добыл и в его шкуре теперь живу!

У царя в тот час мысль явилась: вытряхнуть его, а шкуру взять и, возвратившись в Пеллу, метнуть к ногам Олимпии. Пожалуй, сделал бы так, но вовремя спохватился, что прозорливая жена узрит такую хитрость и ещё посмеётся.

– Да кто же ты? – стал он пытаться. – И как изведать, что я сюда явлюсь?

Тот прочные путы разорвал вкупе с сетью и выбрался из шкуры, оказавшись голым.

– Прочёл по звёздам...

– Ты звездочёт?

– Я волхв и чародей, – признался оборотень. – И именем Старгаст. Мне все открыты книги. К примеру, я ещё прочёл, твоя жена Миртала тебя послала льва добыть. Вот ты и пришёл... А наемни ты вернулся с Олимпийских игр, где победил и был увенчан. Однако цели не достиг, не подивил жену. Но, коли принесёшь меня в свой дворец и к ногам положишь, строптивая Миртала будет в восторге. И сына родит тебе, то бишь наследника престола. Ты ведь её новым именем нарёк, Олимпией прозвал. Под ним она и прославится, став матерью великого воеводы.

Провести и обмануть Филиппа было трудно: никто не ведал истины, куда едет царь, зачем. А приняв сонм греческих богов, проникшись верой к оракулу дельфийскому и прочим таинствам Эллады, он отверг варварских волхвов, чародеев, звездочётов и прочих колдунов, предсказания которых казались глупыми и вызывали смех. Тут же этот неведомый и странный человек с усами золотистыми излагал то, чего никак не должен был знать! Да ещё, словно оракул, вещал о будущем!

В тот миг всходило солнце, и он услышал зов...

Отослав подальше своих подручных, царь спросил:

– Признайся мне: ты кто?

И пленник более не запирался.

– Я бог, отвергнутый тобой. Мне имя – Раз. Или зовут ещё Перун и Один. Един в трёх лицах.

– А что же делаешь в горах? И в львиной шкуре?

– От вас спасаюсь, кто меня отринул. Жду, когда вы, внуки мои, натешитесь довольно, почитая чужих богов, и вспомните меня. Ну а теперь, коль я к тебе явился, бери да неси к жене, что посылала охотиться на льва. Да гляди, не выдавай меня, иначе дива не случится. Скажи ей: волхв Старгаст, обряженный в львиную шкуру. Пусть Миртала сама признает, кто я есть.

И вновь натянул на себя звериный образ.

Добычу сострунили, повесили на жердь, которую потом и приторочили к сёдлам двух лошадей, – так перевозили битую дичь, оленей, медведей и кабанов.

На сей раз Пелла не ведала, куда ходил царь, и потому не встречала ловчую ватагу, не посыпала лепестками путь; довольно было торжества и восхищения, что у городских ворот стояла в одиночестве Олимпия! И вместо змей привычных была украшена цветами и махала ему веткой пальмы! Когда же царь спешил перед ней, водрузила ему на голову венки и молвила:

– Ты подивил меня, князь.

Тем часом ватажники подвезли добычу, сняли с жерди и бросили к ногам царицы. Лев зарычал гортанно, попытался встать на лапы, но, связанный, не сумел и лёг, склонив голову, обрамлённую гигантской гривой. Она в тот час же почуяла не зверя, а ряженого, и засмеялась.

Филипп впервые услышал её смех.

– Кого ты в шкуру спрятал? Как забавно!

– Там волхв Старгаст, суть чародей.

– Старгаст? – и вовсе взвеселилась Олимпия. – Хочу позреть!

Подручные сняли путы и вынули струну из пасти. Лев вскочил и сдёрнул гриву с головы, представ перед царицей без личины.

– Верно, государыня! Я звёздный гость. И по ночным светилам могу предсказывать судьбу.

Она взирала с любопытством:

– Добро! Мне любо испытать тебя. Коль ведаешь судьбу, тебе известно, отчего умрёшь.

Старгаст позрел на угловую башню крепостной стены и молвил:

– Да как же, государыня, себе я смерть нагадал в первый черёд. Только придёт сей срок не скоро.

Олимпия вдруг стала хладнокровной и строгой, какой была, когда змей в руках держала.

– Вот и позрим, не самозванец ли ты, не ложный ли оракул.

И велела взойти на башню.

Не снимая шкуры, Старгаст поперёд всех забежал по лестницам и с боевой площадки вниз заглянул. Да пошатнулся, уцепившись за зубья.

– Я, государыня, высоты боюсь...

И в тот же миг совет прозвучал:

– Оборотись спиной.

Волхв оборотился:

– И верно, так не страшно!.. Ну, прощай, Миртала, если что!..

Она же взяла из рук ловца копьё и тупым концом толкнула чародея в грудь. Тот взмахнул руками и рухнул вниз. Крик до ушей донёсся, затем глухой стук о землю, и стихло всё.

Теперь царь на жену воззрился, а у неё, юной, хоть бы бледности добавилось, хоть бы лёгкий вздох из уст вырвался; стоит себе и смотрит, дерзостная эпириотка, словно на забаву! Филипп помедлил чуть и велел приспешникам достать тело волхва да закопать за рвом, где бродяг и казнённых хоронили. А шкуру снять с него и вместо попоны леопардовой на его коня надеть – всё же добыча...

Но глядь... а сей оракул выходит из сухого рва! Встал супротив башни, отряхнул шкуру, выбивая пыль, и закричал Олимпии:

– Добро, что испытала! И ныне возьмусь-ка я возмущать земные и небесные стихии естества! Да лоно твоё пробуждать! А ты, царь, ступай проклятие с себя снимать, как по пути учил! Как снимешь, так являйся!

Филипп в тот миг уверовал, что перед ним и в самом деле отринутый бог Раз. Иначе бы не спасся! Гневить даже отвергнутых богов он не посмел, напротив, крадучись от дворни, воздал волхву жертвы вином, скотом, одеждами и наказал впредь воздавать так же щедро, то есть вволю кормить, поить: никто не ведал, кто чародей на самом деле. Старгаст все жертвы принял и только от одежды отказался: мол, мне сподручней в львиной шкуре. Раздав наказы, царь в тот же день собрал полки и отправился в поход, на сей раз усмирять восставших агриан.

Покуда царь вёз добычу на жерди, чародей, будто бы разгоняя скуку дорожную, стал наставлять Филиппа, учить, как совладать с соседними народами, уже не единожды покорёнными, и как смирить Элладу. Много чего советовал, и философски размышлял, и приводил примеры, пророчил будущее. Но вся его наука сводилась к одному – дать вольную подданным державам: дескать, иначе государство так и будет трещать по швам, а ты, мол, метаться из конца в конец и штопать. А копьё воина совсем не та игла, коей потребно сшивать государства в одну плоть и уж тем более империи. Не государством станет Македония – проклятием его и всех наследников грядущих. А это проклятие, мол, надобно бы снять, и сотворить сие способно не чародею и волхву и даже не отвергнутому богу или ныне почитаемым Зевсу и Аполлону, а самому Филиппу. И коли он не снимет его до того, как зачать сына от Мирталы, беды не миновать. Наследник-то родится, но будет раб, дурной лицом и с заячьей губою. Воссев же на престол, погубит государство, и Македония уйдёт в полон.

Царь его слушал вполуха, да и то, чтобы время скоротать в пути. Однако же теперь, признав в волхве перевоплощённый образ Раза, он мыслить стал иначе.

Вольную давать уже завоёванным народам и пленных отпускать, как советовал волхв, Филипп не собирался сразу, поскольку уже смиренные однажды и повязанные договорами, как удавками, элמותийцы восстали против Македонии, убив наместника. А там иллирийцы изготавились к бунту и лишь ждут подходящего часа и того, что царь сотворит с горными племенами. Глядя на тех, других и третьих, фракийцы замыслили уйти из-под руки и ныне взирали по-волчьи, исподлобья. Все они боялись только силы и храбрости, но вряд ли бы последовали его слову, увещеванию и дарованную волю восприняли бы как слабость. Однако же при этом он опасался сейчас вступать в кровопролитную войну, ибо мечтал о наследнике, и львиным своим чутьём воина, звенящим, как роковая стрела, слухом чуял и слышал, как незримая смерть вьётся и трепещет за спиной, словно плащ, распушенный по ветру. В любой час и любой миг он мог погибнуть, и без наследника всё рухнет! Покорённые племена и народы мгновенно исполнятся ратным духом и волей, вырвутся из-под мёртвой руки его, а ближний круг соратников довершит дело, сцепившись в поединках за власть.

Усмирять горных элמותийцев царь ехал под тяглом столь противоречивых и заманчивых чувств, что всю дорогу молчал и не заметил, как перевалили хребет, за которым кипели страсти бунтующего народца. Вдохновлённые вожди племён явились к нему, как к равному себе, и заявили, что готовы сразиться с Македонским Львом, невзирая на полчище его воинов. Слух быстро разносился, и уже все окрестные народы, вплоть до Скуфи Великой, весть изведали, что он добыл в Эпире последнего старого льва, и дали грозное прозвище. Но, невзирая ни на что, будучи отважными по природе своей, вставали супротив. Агрианы так и сказали: мол, лучше погибнем все, чем быть под чужой волей, а посему в боевые порядки встали даже отроки и женщины. Дескать, одолеешь нас, тогда и бери нашу окровавленную каменистую землю.

Царь посмотрел: и верно, вся долина, ровно чаша, молодым бродящим вином наполненная до краёв, пузырится, играет, и хотел уж испить её, утолить жажду, но тут в ушах ровно лев возопил:

– Не снимешь с себя проклятия, жена рабичича родит!

Много дней он терзался думами и здесь решил в одночасье.

– Волю даю вам, элמותийцы. Выдайте тело наместника моего и ступайте по домам, живите сами по себе.

Вожди не поверили, полагая, что хитрость замыслил Македонский Лев, выдали тело, но ополчения не распустили и ещё так простояли несколько дней. А царь развернул войско и пошёл восвояси.

Но придворные его, в походе бывшие, вначале тихо зароптали, дескать, элמותийцы подумают: испугался Филипп, не пожелал сразиться – и завтра опять примутся за старое – совершать набеги на македонские земли да скот угонять. И принялись убеждать владыку: мол, давай вернёмся за хребет, застанем врасплох и ударим. Но царь им в ответ велел весь полон, взятый у агриан в прошлую войну, домой отпустить. И, отпуская, перед пленниками слово молвил, коего прежде не слышали из царских уст: ступайте с миром, пашите свои нивы, пасите овец и детей рожайте поболее, мол, скоро много воинов потребуется, возьму к себе на службу.

У приближённых из агемы в первый миг речь отнялась, поскольку придворным во благо взирать либо на льва, могучего и грозного, либо на беззлобного, одной травой сытого зайца, который укусить и то не может. А владыка, пребывающий в загадочном молчании и тайные свои мысли тешащий, не знаемые прежде действия творящий, им всегда не по нраву. Вот и зашептались за спиной, вот и стали выведывать, что же с царем приключилось.

Филипп же пришел к иллирийцам, но запертых, мятежных городов их брать не стал, а созвал князей и принял совет держать. Князья уже прослышали, как царь с горными элמותийцами обошёлся, и потому поведением его были настолько обескуражены, что стоят перед Македонским Львом и не знают, какие слова сказать, как поступить. И от сего смущения прежде единый голос имевшие тут заговорили кто во что горазд, да ещё перебивая друг друга.

– Коль сами не знаете, что хотите, – молвил им Филипп, – ступайте от меня прочь. Не хочу я слушать ваших речей бестолковых, живите, как можете.

Чем и вовсе поверг иллирийских князей в великое заблуждение, а челядь свою – в замешательство.

И тут уже иной ропот возник: дескать, царь не в себе, рассудком повреждён. А поскольку слух о появлении некоего чародея в Пелле давно по всему государству разлетелся, то на него и ссылались: мол, это волхв его с ума свёл и пустил царя по всей Македонии неслыханное непотребство творить.

Филипп ещё сам не верил, что советы Старгаста возымеют действие и силу. Но ещё и похода завершить не успел, как прибежали к нему вожди от горных племён с жалобой: из полунощной стороны разбойные ватаги пришли, много скота угнали, женщин в полон увели. Де-мол, прости нас, неразумных, приди и защити, а мы по доброй воле под твою руку встанем и уж более никогда против не выступим.

Филипп сам не пошёл выручать эллотийцев – послал отряд, и на сей раз воинов его тысячные толпы людей встречали, цветы бросали под ноги лошадям, гимны царю воспевали, клялись верно служить ему и будущему наследнику, славили и честили, чего прежде не бывало!

Мало того, вскоре строптивые иллирийцы к Македонскому Льву с поклоном пришли: мол, покуда были под твоей властью, скуфь не смела и близко стоять вдоль порубежий, а теперь исполчилась и готова с трёх сторон наброситься. Уж лучше ты приходи, мы свои города перед тобой откроем и встретим, как государя, и договор сотворим непререкаемый, достойный.

Царь в Иллирию сам пришёл, благо что отойти далеко не успел, а там и впрямь все крепости перед ним отворились и перед воротами каждой, по их обычаю, дар лежит: шкура красного быка на постаменте, а на ней – меч в ножнах золотой цепью опутан в знак мира и согласия.

Но окончательно уверовал в пророческие слова волхва Старгаста, когда молва о добродетелях Филиппа вырвалась далеко за пределы государства. И уже совсем иная: Эллада и прочие извечные враги – все присмирели, при этом говоря: мол, верно, к великой войне готовится Македонский Лев, вздумал идти через Геллеспонт на персов. Истолковали так: подвластные ему народы отпускает на волю, дабы впоследствии заключить добровольный союз и собрать войско несметное. Знать, изведал грядущее через волхва своего, оттого не ведёт малых войн и распрей с соседями не чинит. И стали к царю послов слать с дарами, заверениями, даже из полисов гордой и своенравной Эллады! А иные смекнули, что будет больше пользы и выгоды, если поспешить и заключить союз. Пока царь Македонии не заключил его с Римом!

На глазах и в короткий срок свершалось то, чего он добиться не мог, воюя на протяжении многих лет.

## 4. Путь к Богам

Он перешёл Геллеспонт!

Так и не проникнув в суть знака, посланного богами, ступил в пределы владений персов и тут, на чужом берегу, уже не ждал ни помощи свыше, ни роковых знамений, всецело полагаясь на мощь своих полков. Вкупе с хворью, исторгнутой из тела мерзким снадобьем, он исторг из памяти горечь неудачного похода на Скуфь Великую. И этим избавлением был благодарен матери Миртале и своему учителю. Философ всю зиму пользовал царя своим лекарством – словом – и преуспел, а мать, призвав на помощь эфирских старцев-чародеев, возбудила стихии естества и сорок ночей, когда царь засыпал, пускала к нему одну из своих змей. Сей гад ползучий обвивал голову Александра и, взявши хвост в пасть, творил круг очищения.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.